

Лекции Витгенштейна в 1930–33 гг.

Дж.Э. Мур

Аннотация: В переводе на русский язык публикуется цикл статей Дж.Э. Мура о философских взглядах Л. Витгенштейна, представленных последним в курсе лекций 1930-1933 гг. Текст включает не только то, что сообщал Витгенштейн на лекциях, но и, в значительной степени, оценки и комментарии самого Дж.Э. Мура, из которых становится ясным его понимание и оценка трансформации ранней философии Л. Витгенштейна времён «Логико-философского трактата». Рассматриваются изменения в понятиях: «символическая система», «правило», «образ», «предложение».

Ключевые слова: Дж.Э. Мур, Л. Витгенштейн, история аналитической философии

Перевод с английского и примечания:

С.Б. Степаненко, кандидат философских наук, докторант Национального исследовательского Томского государственного университета

Редактор перевода:

В.А. Суровцев, доктор философских наук, профессор Национального исследовательского Томского государственного университета

I¹

В январе 1929 года Витгенштейн вернулся в Кембридж, где не был больше пятнадцати лет. Он планировал обосноваться в Кембридже и продолжить здесь свои исследования в области философских проблем. Не знаю, почему для занятий философией Витгенштейн выбрал именно Кембридж. Возможно, чтобы чаще беседовать с Ф. П. Рамсеем. Так или иначе, Витгенштейн действительно находился в Кембридже все три лекционных триместра² 1929 года и всё это время вёл напряжённую исследовательскую работу³. Однако в какой-то момент Витгенштейн должно быть решил, что в дополнение к исследовательским занятиям он хотел бы выполнять и

¹ Данный разбор Муром лекций Витгенштейна печатался в трёх статьях в трёх номерах журнала MIND, A QUARTERLY REVIEW OF PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY, а именно в Vol. LXIII. No. 249. January, 1954; Vol. LXIII. No. 251. July, 1954; Vol. LXIV. No. 253. January, 1955. — *Прим. перев.*

² Речь идет о так называемых Full Terms — восьми неделях в составе триместра, когда читаются лекции, а студентам не разрешается покидать Кембридж. — *Прим. перев.*

³ В некрологе, вышедшем в газете *The Times* за 2 мая 1951 г., говорится о «кратком пребывании» Витгенштейна в Кембридже в 1929 году, что очень далеко от действительности. К счастью, в это время я вёл дневник и теперь в состоянии поручиться за истинность собственных утверждений о местонахождении Витгенштейна в 1929 году, хотя на самом деле имеются и другие свидетельства.

определённый объем преподавательской работы. Об этом свидетельствует резолюция учёного совета Факультета моральных наук⁴ от 16 октября, где Витгенштейну — в соответствии с его собственными пожеланиями — предлагается представить лекционный курс, который будет внесён в список лекций великопостного триместра приближающегося 1930 года.

В течение 1929 года Витгенштейн получил степень доктора философии — тогда он занимался только исследованиями и еще не приступил к чтению лекций. Приобретя статус аспиранта во время своего предыдущего пребывания в Кембридже в 1912 и 1913 гг., теперь он узнал, что имеет право защитить диссертацию на степень доктора философии. В качестве диссертации Витгенштейн представил *Трактат*, а Рассел и я были назначены его экзаменаторами. 6 июня мы приняли у него устный экзамен, и это событие показалось мне и приятным, и интересным. Разумеется, у нас не было никаких сомнений в том, что работа заслуживает степени. Именно это мы и написали, а когда наш отчёт был одобрен соответствующими ведомствами, Витгенштейн получил степень без промедлений.

В том же месяце, когда состоялся экзамен (июнь), Витгенштейн получил от Совета Тринити-колледжа грант на продолжение исследований (в декабре 1930 года ему также дали пятилетнюю исследовательскую стипендию, которую затем продлили на какое-то время).

В следующем месяце (июль 1929 г.) он посетил совместное заседание Mind Association и Аристотелевского общества в Ноттингеме, где представил небольшую работу, озаглавленную «Несколько заметок о логической форме»⁵. Не считая *Трактата*, эта статья стала единственной философской работой Витгенштейна, опубликованной прижизненно. В письме в журнал Mind (июль 1933 г.) он характеризует статью как «слабую», а после 1945 г. в разговорах со мной высказывался о ней ещё более пренебрежительно. По его словам, во время работы над публикацией

⁴ Название этого кембриджского факультета, ныне не существующего, было калькировано при переводе на русский, хотя, разумеется, более привычным для русского уха были бы фразы типа: «социальных наук», «гуманитарных наук», «наук о духе». Между прочим, Geisteswissenschaften — немецкий перевод выражения «moral science» из «Системы логики» Милля. — *Прим. перев.*

⁵ Мур здесь не совсем точен. Статья о логической форме действительно была подготовлена для данного заседания. Правда, вместо обсуждения представленного текста, Витгенштейн выступил с докладом на совершенно другую тему — о понятии бесконечности в математике. См. Георг Хенрик фон Вригт. Людвиг Витгенштейн. Биографический очерк // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель, М., 1993. Стр. 21. — *Прим. перев.*

он обдумывал новые идеи, относительно которых у него ещё не было ясности, и поэтому он не считает данную статью заслуживающей какого-либо внимания.

Но самое важное, что следует отметить в связи с 1929 годом, это частые дискуссии Витгенштейна с Ф. П. Рамсеем. К сожалению, эти беседы прервались из-за безвременной смерти Рамсея в январе 1930 года⁶. Для журнала *Mind* (октябрь 1923, стр. 465) Рамсей написал большой «Критический отзыв» на витгенштейновский *Трактат*, а впоследствии, когда Витгенштейн работал сельским учителем в Австрии, Рамсей ездил к нему, чтобы уточнить некоторые формулировки *Трактата*. Две недели или более Рамсей находился в деревне, ежедневно разговаривая с Витгенштейном. Об этих австрийских беседах — со слов Рамсея — я знаю только то, что на вопросы Рамсея о смысле некоторых формулировок Витгенштейн неоднократно отвечал, что уже забыл, что тогда имел в виду. Однако по окончании первой половины их кембриджских бесед в 1929 году Рамсей — по моей просьбе — написал письмо в поддержку предложения о том, чтобы Тринити-колледж выделил Витгенштейну грант для продолжения исследований. Вот это письмо.

«По моему мнению, мистер Витгенштейн является философским гением иного порядка по сравнению со всеми, кого я знаю. Отчасти благодаря своей выдающейся способности видеть самое главное в проблеме, отчасти благодаря потрясающей интеллектуальной мощи и напряжению мысли, с которым он рассматривает вопрос до конца, никогда не удовлетворяясь просто гипотезой. От его работы, более чем от чьей-либо, я жду помощи в разрешении моих собственных трудностей как в философии вообще, так и в вопросах оснований математики в частности.

Поэтому его возвращение к исследованиям мне представляется особой удачей. Во время двух последних триместров я был близко знаком с его работой, и, как мне

⁶ В предисловии к посмертно изданным «Философским исследованиям», в том месте, где Витгенштейн выражает свою признательность Рамсею (стр. X), он сам говорит о «бесчисленных» беседах с Рамсеем «на протяжении двух последних лет его жизни», то есть в 1928 и 1929 годах. Однако, по-моему, это ошибка. Насколько я понимаю, Витгенштейн, полагаясь исключительно на свою память, продлил до двух лет цикл бесед, которые в действительности продолжались только один год. В письме самого Рамсея, которое я собираюсь процитировать (письмо датировано 14 июня 1929 года), Рамсей утверждает, что он был близко знаком с занятиями Витгенштейна «во время двух последних триместров», то есть в течение великопостного и майского триместров 1929 года. Из этого можно заключить, что Рамсей не был близко знаком с этими занятиями в 1928 году. И хотя мне неизвестно, где Витгенштейн был в 1928 году, он, безусловно, не проживал в Кембридже, где в это время находился Рамсей. Поэтому вряд ли возможно, чтобы в тот год они могли так же часто дискутировать, как в 1929 году.

кажется, он добился поразительного прогресса. Он начал с определённых вопросов, связанных с анализом пропозиций, что теперь привело его к проблемам бесконечности, являющимся фундаментальными для современных споров об основаниях математики. Сначала я боялся, что нехватка математических знаний и недостаточная лёгкость владения материалом станут серьёзной помехой для его деятельности в данной области. Однако достигнутый им прогресс развеял мои опасения и убедил, что и здесь он в состоянии вести работу первостепенной важности.

В настоящее время он очень много работает, и насколько я могу судить, делает большие успехи. Я считаю, что для философии было бы большим несчастьем, если его занятия будут прерваны по причине нехватки денег».

О беседах, которые Витгенштейн и Рамсей вели в Кембридже в 1929 году, мне известна лишь одна дополнительная подробность. Однажды Витгенштейн сообщил мне, что Рамсей сказал ему: «Мне не нравится твоя манера ведения спора».

В январе 1930 г. Витгенштейн приступил к чтению лекций. С самого начала он принял определённый план, которому, как мне кажется, следовал на протяжении всех своих кембриджских лекций. Его план состоял в том, чтобы в течение лекционной части триместра читать по одной лекции в неделю, а в один из последующих дней проводить дискуссионное занятие, на котором можно было бы обсудить сказанное им во время предшествующей лекции⁷.

Сначала как лекции, так и дискуссионные занятия проходили в обычной лекционной аудитории Университетской школы искусств. Но уже в первом триместре мистер Р. И. Пристли (теперь сэр Раймонд Пристли), который тогда был Секретарем университета⁸ и занимал в новом здании Клэр-колледжа комнаты для сотрудников, пригласил Витгенштейна проводить в них дискуссионные занятия. Как я полагаю, позже в комнатах Пристли проводились и лекции, и обсуждения. Так продолжалось вплоть до октября 1931 года, когда Витгенштейн в качестве сотрудника Тринити-

⁷ В следующем выпуске журнала *Mind* (том LXIII, No. 251, июль 1954), в примечаниях ко второй части данной статьи Мур сообщает читателям о своей ошибке, на которую ему указал профессор фон Вригт. На самом деле Витгенштейн не всегда придерживался плана проводить по одной лекции и семинару в неделю. В 1939 году Витгенштейн читал две лекции в неделю и не проводил дискуссионных занятий, а в весеннем триместре 1947 года он читал две лекции в неделю и проводил один семинар. Мур также вспомнил, что одно время, помимо обычных лекций, Витгенштейн читал специальный курс для математиков. — *Прим. перев.*

⁸ Также в примечаниях ко второй части статьи Мур извиняется перед читателями за вторую фактическую ошибку, допущенную в первой части: в 1930 году Пристли не был Секретарем университета, на самом деле он занимал должность Генерального секретаря факультетов. — *Прим. перев.*

колледжа сумел получить собственные комнаты в Тринити, которые ему действительно понравились. Это были те самые две комнаты, которые Витгенштейн занимал в 1912–1913 академическом году. К слову сказать, в этих комнатах я сам жил за год до Витгенштейна, а также после него — с октября 1913 года, когда он уехал из Кембриджа в Норвегию. Всего на верхнем этаже башни с аркой, связывающей внутренний дворик зданий Уэвелл-кортс и улицу Сидни-стрит, располагались две квартиры. Витгенштейн занимал комнаты с окнами, выходящими на запад — поверх большего из зданий Уэвелл-кортс; окна находились так высоко над землей, что из них открывалась грандиозная панорама неба и кембриджских крыш с остроконечными башенками капеллы Кингс-колледжа. Комнаты не были предназначены для сотрудников, поэтому гостиная была небольшой. На время лекций и семинаров-дискуссий в эту гостиную приносили пару десятков простых стульев с плетеными тростниковыми сиденьями, все остальное время стулья хранились на большой лестничной площадке. Дискуссионные занятия практически всегда длились не менее двух часов. После переноса лекций из Школы искусств университета продолжительность лекций не сокращалась. Как во время лекций, так и во время семинаров с дискуссиями в распоряжении Витгенштейна находилась доска, и он довольно часто ею пользовался.

Я посещал и лекции, и дискуссионные занятия на протяжении всех трёх триместров 1930 года, а также первых двух триместров 1931 года. В осеннем триместре 1931 года и великопостном триместре 1932 года я не ходил на лекции по какой-то причине, которую сейчас вспомнить не могу, но посещал дискуссионные занятия. В мае 1932 года я возобновил посещение лекций, а уже в 1932–33 академическом году посещал все лекции и дискуссии. На лекциях — но не на дискуссиях — я делал очень подробные записи в тетрадях, которых у меня накопилось почти шесть полных подшивков. Помню, как Витгенштейн сказал мне однажды, что он рад моим записям, ведь если с ним что-нибудь случится, они станут отчётом о результатах его размышлений.

Мои конспекты лекций Витгенштейна было бы естественно распределить по трем группам, которые я обозначу как (I), (II) и (III). Группа (I) содержит записи лекций, прочитанных Витгенштейном в великопостном и майском триместрах 1930 года, группа (II) — лекций в 1930–31 академическом году, а группа (III) — лекций, прочитанных в майском триместре 1932 года после того, как я снова стал на них ходить, а также всех лекций в 1932–33 академическом году. Имеет смысл различать эти

три группы, поскольку, как будет видно, иногда в своих более поздних лекциях Витгенштейн исправлял то, что говорил в ранних лекциях.

Как представляется, основные темы, рассматриваемые Витгенштейном, подпадают под следующие рубрики. Прежде всего, на протяжении всех трёх периодов он занимается (А) некоторыми довольно общими вопросами, касающимися языка, (В) некоторыми специальными вопросами философии логики, а также (С) некоторыми специальными вопросами философии математики. Далее, в (II) и только в (II), Витгенштейн подробно рассматривает (D) различие между пропозицией, выраженной словами «У меня зубная боль», и пропозициями, выраженными словами «У тебя зубная боль» или «У него зубная боль» (в связи с чем он делает замечания о бихевиоризме, солипсизме, идеализме и реализме), а также рассматривает (Е) то, что он называет «грамматикой слова „Бог“ и грамматикой этических и эстетических пропозиций». Кроме того, в (I), менее подробно, он обсуждает (F) использование нами термина «первичный цвет»; в (III) — (G) некоторые вопросы, касающиеся времени; в (II) и (III) — (H) характер его собственных исследований, их отличие и связь с тем, что традиционно называют «философией».

Я попытаюсь представить некий отчёт о главном, сказанном Витгенштейном по данным темам. Однако я просто не в состоянии упомянуть всего. Также возможно, что некоторые вещи, которые я опускаю, в действительности важнее тех, что мной упомянуты. И ещё. Хотя в своих записях я и старался использовать его собственные слова, возможно, иногда я заменял их своими словами и искажал его мысль, ведь многое из того, что он говорил, я не понимал. Кроме того, я не в состоянии передать исключительной яркости его иллюстраций и сравнений: при обсуждении общеизвестных вещей Витгенштейну действительно удавалось создавать то, что он называл «синоптическим» взглядом. Равно я не способен передать ни той силы убеждённости, с которой он всегда говорил, ни того исключительного интереса, который он пробуждал в слушателях. Разумеется, он никогда не занимался чтением лекций в буквальном смысле: свои лекции он не записывал, хотя всегда проводил много времени, обдумывая то, что собирался сказать.

(А) Весьма подробно, особенно в (II), Витгенштейн обсуждает ряд довольно общих вопросов, касающихся языка. При этом он неоднократно утверждал, что рассматривает их вовсе не потому, что считает язык предметом философии. Он действительно так не думал. Витгенштейн обсуждал язык, поскольку считал, что отдельные философские ошибки или «затруднения в нашей мысли» объясняются

ложными аналогиями, внушёнными нашим фактическим использованием выражений. Он подчеркивал, что ему необходимо рассматривать лишь те моменты, связанные с языком, которые, как он полагал, приводят к этим отдельным ошибкам или «затруднениям».

Его общие замечания о языке, как я полагаю, естественным образом подпадают под две рубрики, а именно: (a) то, что он говорил о значении отдельных слов, и (b) то, что он говорил о «пропозициях»⁹.

(a) Что касается значения отдельных слов, то, как кажется, Витгенштейн особо настаивал на двух моментах конструктивного характера. Первый момент (α) он выразил, заявив, что значение любого отдельного слова в языке «определено», «образовано», «обусловлено» или «установлено»¹⁰ (он употреблял каждое из этих четырёх выражений в разных местах) «грамматическими правилами», по которым оно используется в данном языке. Второй момент (β) он обозначил, сказав, что любые осмысленные слова или символы должны принадлежать «системе» или (уже метафорически), что значение слова это его «место» в «грамматической системе».

Однако в (III) Витгенштейн утверждает, что смысл слова «значение», делающий верными эти положения и являющийся единственным смыслом, в котором он сам намерен использовать данное слово, это лишь один из смыслов, в которых мы обычно это слово используем. Существует и другой смысл, в котором, согласно описанию Витгенштейна, слово «значение» употребляется как «имя процесса, сопровождающего наше использование слова и наше слушание слова». В этом последнем случае Витгенштейн, очевидно, имеет в виду тот смысл слова «значение», в котором «знать значение» определённого слова означает то же самое, что «понимать» это слово; и, по моему, Витгенштейну не было до конца ясно отношение между этим смыслом

⁹ Здесь и далее для перевода английского слова «proposition» будет использоваться заимствование «пропозиция». Данный вариант перевода не имеет особых преимуществ перед двумя альтернативными вариантами — калькой «предложение», традиционной для передачи немецкого «Satz» и английского «proposition» у Витгенштейна, а также термином «высказывание», в защиту которого можно привести русскоязычное название целого раздела символической логики. Тем не менее, слово «пропозиция» тоже достаточно распространено в современных переводах лингвистической и философской литературы. А в случае с данной публикацией, в которой указывается на осознание Витгенштейном неопределённости выражения «proposition», неестественность русского слова «пропозиция» является, скорее, плюсом, поскольку заставляет в большей мере полагаться на контекст, чем на то, что собственная «радуга значений» какого-либо естественного русского слова чудесным образом совпадёт с «радугой значений» английского слова. — *Прим. перев.*

¹⁰ Мур здесь приводит синонимический ряд, составленный из следующих английских слов: «defined», «constituted», «determined» и «fixed». — *Прим. перев.*

«значения» и тем, в котором он сам намеревался использовать данное слово, поскольку в двух разных местах он, по-видимому, предлагает два совершенно разных и несовместимых взгляда на данное отношение. Так, в (II) он заявляет, что «правила, применимые к отрицанию, в действительности описывают мой опыт использования слова „не“, то есть они описывают моё понимание этого слова». С другой стороны, в одном из фрагментов в (III) он говорит: «возможно, существует причинная связь между этими правилами и тем ощущением, которое мы испытываем, когда слышим „не“». В связи с первой фразой Витгенштейн добавляет: «логическое исследование не учит нас ничему такому, что бы говорило о значении отрицания: ничто не способно сделать это значение более ясным для нас. Что на самом деле трудно, так это сделать ясными сами правила».

А ещё позже в (III) Витгенштейн делает довольно странное заявление о том, что «идея значения в некотором смысле является устаревшей, кроме случаев с фразами типа „это означает то же, что и то“ или „это не имеет значения“». А перед этим, также в (III), он говорит: «одно то, что у нас есть выражение „значение“ слова, сбивает нас с толку: мы вынуждены считать, что эти правила подчиняются чему-то, что само не является правилом, тогда как они подчиняются только правилам».

Что касается (α), то, хотя Витгенштейн и сказал однажды, что значение слова «образуется» применимыми к нему грамматическими правилами, позже он пояснил, что не имел в виду, будто значение слова *является* списком правил. По его выражению, хотя слово и «несёт с собой своё значение», оно не несёт с собой грамматических правил, которые к нему применимы. Когда один из студентов спросил у Витгенштейна, имеет ли тот в виду, что значение слова *является* списком правил, Витгенштейн ответил, что данный вопрос не пришёл бы в голову, если бы не одна ложная идея (её он считал общераспространенной), согласно которой для таких существительных, как «значение», следует искать что-либо, на что можно указать, заявив «Вот это — значение». По-видимому, Витгенштейн полагал, что та же самая идея ввела в заблуждение Фреге и Рассела, считавших необходимым отвечать на вопрос «Чем *является* число 2?». Что касается слов Витгенштейна о том, будто значение слова «определено» (кажется, он предпочитал именно это выражение) «грамматическими правилами», в соответствии с которыми оно используется, то я не думаю, что он подробно объяснял, что он под этим подразумевает.

(β) Я не смог прийти к какой-либо ясной идее относительно того, что Витгенштейн имел в виду, говоря о принадлежности определенной «системе» как

обязательном условии, чтобы слово или другой знак имели значение. В (II) он несколько раз повторяет следующее положение: чтобы используемое мной слово имело значение, я должен «связать себя» его использованием. Объясняя, что он имеет в виду, Витгенштейн говорит: «Если я связываю себя обязательством, это означает, что если я, к примеру, использую слово «зелёный» в данном случае, то я должен использовать его в других случаях». И добавляет: «Если вы связываете себя обязательством, это имеет последствия». Чуть позже он выражается сходным образом: «Чтобы слово имело смысл, мы должны связать себя обязательством». И далее: «Бесполезно устанавливать отношения шумов к фактам, если мы не связываем себя обязательством в будущем использовать определённый шум особым образом — если данное отношение не имеет последствий». Затем он замечает, что должна существовать возможность «быть направляемым языком». А когда немного позже он спрашивает «О чем идёт речь, когда говорят о „системе“, которой должен принадлежать символ?», его ответ заключается в том, что здесь мы имеем дело с явлением «быть ведомым». Поэтому можно подумать, что одним из способов, которым Витгенштейн употребляет слово «система», является следующий: чтобы сказать, что слово или другой знак «принадлежат системе», не только необходимо, но и *достаточно*, чтобы знак использовался одним и тем же образом в нескольких различных ситуациях. И тогда естественно было бы сказать, что человек, привычно использующий слово одним и тем же образом, использует его «систематично».

Однако Витгенштейн часто употребляет слово «система» и в таком смысле, согласно которому принадлежащими *одной и той же* «системе» можно было бы назвать *разные* слова или другие выражения. Позже Витгенштейн иллюстрирует свою мысль «Каждый символ должен существенным образом принадлежать системе» высказыванием «Четвертная нота может дать информацию о том, какую ноту играть, только в системе четвертных нот». Представляется, что здесь он имеет в виду следующее: чтобы знак был осмысленным, *недостаточно*, чтобы мы «связали себя» его употреблением. Равно необходимо, чтобы этот знак принадлежал одной и той же «системе» вместе с другими знаками. Впрочем, Витгенштейн мог говорить не об условии, при котором знак вообще может иметь *некоторое* значение. Возможно, он имел в виду, что *некоторым* знакам необходимо принадлежать одной и той же «системе» с другими знаками, чтобы иметь *смысл, который они действительно имеют в данном языке*. Это слово «система» — одно из тех, которыми Витгенштейн пользуется очень часто. И я не знаю, каким требованиям, по его мнению, должны

удовлетворять два различных знака, чтобы их было бы допустимо назвать принадлежащими одной «системе». В одном месте в (II) он говорит, что «система проекции», при которой « $2 + 3$ » может быть спроецировано на «5» «ничуть не хуже», чем «система», в которой « $11 + 111$ » можно спроецировать на «11111». Как я полагаю, отсюда видно, что « $2 + 3 = 5$ » допустимо назвать принадлежащим той же самой «системе», которой принадлежит, к примеру, « $2 + 2 = 4$ », и также допустимо назвать это выражение принадлежащим иной системе, нежели та, которой принадлежат как « $11 + 111 = 11111$ », так и « $11 + 11 = 1111$ ». Хотя у меня нет какой-либо ясной идеи относительно того смысла, в котором говорить эти вещи допустимо. Я также не знаю, посчитал бы Витгенштейн, к примеру, что *любое* английское слово не могло бы иметь смысл, который оно действительно имеет в английском языке, если бы оно не принадлежало той же самой «системе», что и другие слова, или же он счёл бы это верным лишь по отношению к *некоторым* словам, например словам «четыре» и «пять» или «красный» и «зелёный».

Однако помимо этих двух моментов конструктивного характера (α) и (β), о которых Витгенштейн, по-видимому, непременно хотел высказаться в связи с темой значения слов, он также настаивает на трёх моментах критического характера. Речь идёт о критике трёх взглядов, которых иногда придерживаются, но которые являются ошибочными. Первая из ошибок (γ) состоит в отождествлении значения слова с неким образом, который слово вызывает по ассоциации. Как кажется, этот взгляд он назвал «каузальной» теорией значения. Витгенштейн допускает, что иногда мы не можем понять слово, если не вызовем в памяти некоторый чувственный образ, однако настаивает на том, что даже там, где это имеет место, образ не в меньшей степени является «символом», чем слово. Вторая ошибка (δ) связана со следующей позицией: там, где возможно «остенсивное» определение слова, объект, на который указывают, является значением этого слова. Высказываясь против этого взгляда, Витгенштейн сначала говорит, что в таком случае «жест указания вместе с объектом, на который указывают, можно использовать *вместо* слова», то есть сам жест есть нечто, что имеет значение, причём, то же самое значение, что и слово. В этой связи он также обращает внимание на то, что мы можем указать на красную книгу либо чтобы показать значение слова «книга», либо чтобы показать значение слова «красный», а потому местоимение «это» в выражениях «Это книга» и «Это „красный“ цвет» имеет совершенно разное значение. Витгенштейн подчеркивает, что для понимания остенсивного определения «Это „красное“» слушатель уже должен понимать, что имеется в виду под словом

«цвет». И, наконец, третья ошибка (ϵ) состоит во взгляде, согласно которому слово относится к своему значению тем же самым образом, каким имя собственное относится к «носителю» этого имени. Демонстрируя ложность этого убеждения, Витгенштейн замечает, что носитель имени может быть болен или мёртв, в то время как значение имени мы никак не можем назвать больным или мертвым. Он не раз говорил, что носителя имени можно «заменить» именем, тогда как значение слова никогда нельзя заменить этим словом. Иногда Витгенштейн характеризовал эту третью ошибку как такой взгляд на слова, при котором слова являются «представителями» своих значений. Он считал, что слово ни в коем случае не является «представителем» своего значения, хотя собственное имя есть «представитель» своего носителя (если таковой имеется). В одном месте он добавляет: «Для нас значение слова больше не является объектом, который соответствует слову».

По поводу высказывания «Слова вне пропозиций не имеют значения» он говорит, что это «истинно или ложно в зависимости от того, как вы его понимаете». И сразу добавляет: в «языковых играх» (как он их называет) отдельные слова «имеют значения сами по себе», и они могут иметь значение сами по себе даже в нашем обыденном языке, «если он нам дан». В этой связи в (II) Витгенштейн говорит, что он ошибался, считая, будто пропозиция должна быть составной (думаю, он имеет в виду *Трактат*), тогда как на самом деле пропозицию можно заменить простым знаком, однако этот простой знак должен быть «частью системы».

(b) О «пропозициях» он говорит много и во многих местах в связи с возможными ответами на вопрос «Что такое пропозиция?» — вопрос, который, как он заметил, мы ясно не понимаем. Однако ближе к концу (III) он приходит к заключению: «То, что мы называем „пропозицией“, более или менее произвольно» и добавляет, что «по этой причине логика играет роль, отличную от той, о которой думали я, Рассел и Фреге». Чуть позже он говорит, что способен дать общее определение «пропозиции» не в большей мере, чем «игре», что он может лишь приводить примеры, и что любая граница, которую он может провести, будет «произвольной в том смысле, что никто бы не смог решить, называть ли то-то и то-то „пропозицией“ или нет». Однако Витгенштейн добавляет, что мы вправе использовать слово «игра», если не претендуем на то, что нарисовали чёткий контур.

Тем не менее, в (II) он говорит, что слово «пропозиция» «в общепринятом понимании» распространяется как на «то, что я называю пропозициями», а также на «гипотезы», так и на математические пропозиции. Что различие между этими тремя

«видами» является «логическим различием», а потому должны существовать определённые грамматические правила, относящиеся к одному виду, но не к двум другим; однако правила «истинностных функций» применимы ко всем трём, и поэтому все они называются «пропозициями».

Иллюстрируя разницу между первыми двумя видами, он отмечает, что фраза «Мне кажется, что здесь кто-то есть» относится к первому виду, тогда как «Здесь кто-то есть» является «гипотезой»; он также говорит, что согласно одному правилу, относящемуся к первому виду, но не ко второму, я не могу сказать «Мне кажется, что мне кажется, что здесь кто-то есть», тогда как сказать «Мне кажется, что здесь кто-то есть» я могу. Однако вскоре он заявляет, что слово «пропозиция» используется *двумя* разными способами — в более широком и более узком смыслах. Более широкий смысл распространяется на все три вида, которые были только что различены. В случае с более узким смыслом речь, вероятно, идёт только о первых двух видах, но не о третьем. Как кажется, для пропозиций в этом более узком смысле он затем часто использует выражение «опытные пропозиции», и я также буду пользоваться этим выражением для обозначения пропозиций первых двух видов. То, что он говорил об опытных пропозициях, понятых таким образом, сильно отличается от того, что он говорил о пропозициях третьего вида, а потому я рассмотрю эти две темы отдельно.

(α) Об опытных пропозициях в (I) Витгенштейн говорит, что их можно «сопоставить с действительностью» и оценить как «соответствующие либо несоответствующие ей». В самом начале Витгенштейн обращает внимание на то, что «Многому в языке нужна помощь извне». В качестве примера он приводит использование образца цвета при объяснении того, в какой цвет должна быть покрашена стена. Но тут же оговаривается (используя слово «язык» в другом смысле), что в таком случае образец цвета является «частью вашего языка». Кроме того, он обращает внимание (как и в *Трактате*) на возможность высказать утверждение или отдать приказ без использования каких-либо слов или символов (в обычном смысле слова «символ»). Одной из наиболее поразительных особенностей употребления Витгенштейном термина «пропозиция» является то, что он, насколько можно судить, использует его так, что, отдавая приказ, вы обязательно выражаете пропозицию. Хотя, конечно, приказ не может быть ни истинным, ни ложным, и его можно «сопоставить с действительностью» совсем в ином смысле — вы можете убедиться, приведён ли он в исполнение или нет.

В связи с пропозициями, понятыми таким образом, в (II) Витгенштейн проводит различие между тем, что он называет «знаком» и тем, что он называет «символом». По его словам, всё, что необходимо для придания «знаку» осмысленности, является частью «символа». Так что, например, если «знаком» является предложение, «символ» содержит в себе как этот знак, так и всё то, что необходимо для придания предложению смысла. Согласно его словам, понятый таким образом «символ» является «пропозицией» и «не может быть бессмысленным, хотя может быть истинным или ложным». Иллюстрируя это, Витгенштейн говорит: если человек заявляет «Я устал», его гримаса является частью символа; он также говорит, что любое объяснение знака «дополняет символ».

Поэтому представляется, что здесь Витгенштейн проводит различие между пропозицией¹¹ и предложением.¹² Такое различие, что ни одно предложение не может быть тождественным какой-либо пропозиции, и ни одна пропозиция не может быть бессмысленной. Однако я не думаю, что в своем фактическом употреблении термина «пропозиция» Витгенштейн придерживался этого различия. Иногда мне кажется, что он использует термин «пропозиция» таким образом, что любое осмысленное предложение является «пропозицией», хотя, разумеется, осмысленное предложение не содержит в себе всего того, что необходимо для придания ему значения. Он говорит, к примеру, что знаки с разными значениями должны *быть* разными «символами». И как мне представляется, используя слово «пропозиция», Витгенштейн часто следует Расселу, у которого во Введении к *Principia Mathematica* «пропозиции», а не только предложения, могут не иметь смысла. Так, например, в начале (II) Витгенштейн замечает, что он хочет дать нам обрести что-то вроде «твердой почвы», допустим, такого рода: «Если пропозиция имеет значение, её отрицание тоже должно иметь значение». А ближе к концу (III) — в связи с его тогдашней позицией, согласно которой слова «пропозиция», «язык» и «предложение» все являются «неопределёнными» — он заявляет следующее: в ситуации, когда вы говорите «Единорог выглядит вот так» и указываете на изображение единорога, ответом на вопрос, является ли данное изображение частью произносимой вами пропозиции или нет, будет фраза «Вы можете сказать, что хотите». Получается, что теперь Витгенштейн отвергает свою более раннюю точку зрения, согласно которой пропозиция должна содержать всё необходимое, чтобы сделать предложение

¹¹ Proposition. — Прим. перев.

¹² Sentence. — Прим. перев.

осмысленным. По-видимому, он также даёт понять, что использование слова «пропозиция» в значении «предложение» является совершенно законным.

По поводу содержащегося в *Трактате* утверждения о том, что пропозиции в интересующем нас сейчас «более узком» смысле являются «образами», Витгенштейн говорит, что в то время он не заметил неопределённости, присущей слову «образ». Однако и в конце (III) он заявляет, что по-прежнему считает «полезным говорить, что „Пропозиция является образом или чем-то подобным“». При этом в (II) Витгенштейн говорит, что он склонен признать вводящим в заблуждение обозначение пропозиции как «образа». Что пропозиции не являются образами «в каком-либо обычном смысле»; а то, что мы называем их образами, «просто подчеркивает определённый аспект грамматики слова „пропозиция“ — просто подчеркивает то, что при использовании слов „пропозиция“ и „образ“ мы следуем схожим правилам».

В связи с данным вопросом о сходстве между опытными «пропозициями» и образами он часто использует слова «проецировать» и «проекция». Сначала он отмечает парадоксальный характер описания слов «Выйди из комнаты» как «образа» того, что делает мальчик, подчиняясь соответствующему распоряжению, а также заявляет, что фактически это *не* «образ» действия мальчика «в каком-либо обычном смысле». Тем не менее, далее он утверждает, что это «настолько же» образ того, что делает мальчик, насколько « $2 + 3$ » является образом «5», и что « $2 + 3$ » действительно является образом «5» «с точки зрения определенной системы проекции». И что данная система «ничуть не хуже» той системы, в которой « $11 + 111$ » проецируется в « 11111 », разве что «метод проекции будет довольно странным». А перед этим он заметил, что нотные знаки « \sharp » и « \flat », очевидно, не являются образами чего-либо, что вы исполняете на фортепьяно. В этом отношении, по его словам, нотные знаки отличаются от того, чем, к примеру, было бы «», если бы у вас имелось правило, по которому вторая четвертная нота символизирует белую клавишу фортепиано, находящуюся справа от клавиши, которую символизирует первая четвертная нота, и аналогично в случае с третьей и четвертой четвертными нотами. Тем не менее, утверждает он, знаки « \sharp » и « \flat » «работают точно таким же образом», как работали бы эти четвертные ноты, и добавляет, что «почти все слова работают как они». Разъясняя предыдущее, он замечает, что «образ» было бы необходимо представлять через объяснение того, как используются « \sharp » и « \flat », а объяснение всегда похоже на определение, оно «заменяет

один символ другим». Далее он говорит, что, когда пианист читает с партитуры, его «ведёт» или им «руководит» положение четвертных нот. А это означает, что пианист «следует общему правилу», и данное правило, хотя оно и не «содержится» ни в партитуре, ни в исполнении произведения, ни в том и другом вместе, должно «содержаться» в намерении пианиста. Но Витгенштейн также говорит, что, хотя правило «содержится» в намерении, очевидно, что какое-либо *выражение* данного правила «содержится» в этом намерении не в большей мере, чем при чтении вслух я осознаю правила, которым следую, переводя печатные знаки в звуки. По его словам, пианист «видит в партитуре правило», и даже играя автоматически, всё равно «руководствуется» партитурой, коль скоро при оценке того, совершил он ошибку или нет, пианист использовал *бы* общее правило. В одном месте он даже утверждает, что «руководствоваться» партитурой для пианиста «означает», что пианист *оправдывал бы* своё исполнение ссылкой на партитуру. В заключение Витгенштейн замечает, что если пианист играет правильно, то имеется «сходство» между тем, что он делает, сидя за фортепиано, и партитурой, «хотя обычно мы ограничиваем „сходство“ проекцией, проведённой в соответствии лишь с определённого рода правилами». И что в том же самом смысле имеется сходство между сигналами светофора и дорожным движением, которое ими регулируется. Позже он утверждает, что для любого знака без исключения *возможен* такой способ проекции, при котором знак имеет смысл. Однако, по его словам, говоря о каком-либо конкретном выражении, что «оно ничего не значит» или «является бессмысленным», он имеет в виду «С обычным способом проекции это ничего не значит». Иллюстрируя данную мысль, Витгенштейн замечает, что назвав «бессмысленным» предложение «Мы не способны записать все кардинальные числа из-за человеческой ограниченности», он имел в виду, что оно является бессмысленным, если говорящий употребляет выражение «из-за человеческой ограниченности» так же, как в предложении «Мы не способны записать миллиард кардинальных чисел из-за человеческой ограниченности». Аналогичным образом, утверждает Витгенштейн, Гельмгольц, должно быть, произнёс бессмыслицу, заявив, что в счастливые моменты он в состоянии представить четырёхмерное пространство. Так как *в используемой им системе* данные слова не имеют смысла. Хотя предложение «Я бросил мелок в четырёхмерное пространство» имело бы смысл, если бы мы не использовали эти слова, руководствуясь аналогией с броском мелка из одной комнаты в другую, а подразумевали просто: «Мелок сначала исчез, затем появился опять». Как Витгенштейн неоднократно утверждал, мы склонны полагать, что используем новую

систему проекции, которая бы придавала смысл нашим словам, тогда как фактически не используем новой системы вообще: «любое выражение», говорит он, «*может* иметь смысл, но вы можете считать, что используете его со смыслом, тогда как фактически это не так».

Один важный взгляд на пропозиции, против которого Витгенштейн возражал, был выражен им следующим образом: пропозиция — это разновидность «тени», находящейся между выражением, которое мы используем для утверждения пропозиции, и фактом (если таковой имеется), «верифицирующим» эту пропозицию. Данное мнение Витгенштейн приписывает У. Э. Джонсону, характеризуя эту точку зрения как попытку провести различие между пропозицией и предложением. (Как мы видели, в (II) Витгенштейн сам предпринял иную попытку сделать это.) Согласно данному взгляду, говорит Витгенштейн, предполагаемая «тень» считается чем-то «похожим» на верифицирующий её факт и, таким образом, чем-то отличным от выражения, которое её выражает и которое не «похоже» на рассматриваемый факт. По его словам, даже если бы имела такая «тень», это бы «не приблизило нас к факту», поскольку «она бы допускала разные интерпретации, точно так, как их допускает выражение». Как утверждает Витгенштейн, «Вы не способны предложить какой-либо образ, который нельзя неверно проинтерпретировать» и «Никакой промежуточный элемент между знаком и оправданием связанного с ним ожидания не устраняет знака». Он также добавляет, что единственным «важным для нас» описанием ожидания является «его выражение», а «выражение ожидания содержит описание того факта, который бы это ожидание оправдывал. Здесь он отмечает, что если я ожидаю *увидеть красное пятно*, то моё ожидание оправдывается, если и только если я действительно *вижу красное пятно*, а также говорит, что слова «видеть красное пятно» имеют одно и то же значение в обоих выражениях.

Где-то в начале (I) Витгенштейн произносит известное высказывание: «Смыслом пропозиции является тот способ, которым она верифицируется». Однако в (III) он говорит, что это означает лишь то, что «Вы способны определить значение пропозиции, спросив, как её верифицировать», и добавляет: «Это, с неизбежностью, не более чем практическое руководство, так как „верификация“ означает разное, а значит в некоторых случаях вопрос „Как это верифицировать?“ не имеет смысла». В качестве примера случая, когда данный вопрос «не имеет смысла», он приводит пропозицию «У меня зубная боль», о которой он уже говорил, что требовать её верификации (задавать вопрос «Откуда вы знаете, что у вас зубная боль?») бессмысленно. Как я полагаю, здесь

он хочет распространить сказанное по поводу «У меня зубная боль» на все те пропозиции («то, что я называю пропозициями»), которые он первоначально отличил от «гипотез». Хотя в (II) он отличил эти пропозиции от «гипотез», заявив, что первые имеют «определённую верификацию или фальсификацию». Поэтому представляется, что в (III) Витгенштейн приходит к выводу, что сказанное им в (II) неверно, и что в случае с «тем, что он называет пропозициями» бессмысленно говорить не только об «определённой верификации», но и о том, что такие пропозиции имеют верификацию вообще. Следовательно, его «практическое руководство», если и относится к чему-либо, то лишь к «гипотезам». А во многих случаях, говорит он, оно не применимо даже к ним. Так, газетные сообщения могут верифицировать «гипотезу» о том, что Кембридж выиграл лодочную регату, но они мало способствуют объяснению значения слов «лодочная регата». Аналогичным образом, по его словам, «Асфальт мокрый» может верифицировать пропозицию «Шёл дождь», и всё же это «очень мало что даёт в отношении грамматики пропозиции „Шёл дождь“». Далее он утверждает: «Верификация определяет значение пропозиции только там, где она сообщает о грамматике данной пропозиции». И отвечая на вопрос «Насколько верификация пропозиции является грамматическим высказыванием о ней?», он говорит: «Когда идёт дождь, асфальт становится мокрым» не является грамматическим высказыванием вообще, но если мы скажем «То, что асфальт мокрый, является *признаком* того, что шёл дождь», данное высказывание будет «предметом грамматики».

II

(β) Третий вид «пропозиций», упомянутый в части I¹³ (стр. 10), — это пропозиции, которые традиционно называют «необходимыми» в противоположность «случайным». В качестве примера Витгенштейн в самом начале (I) приводит математические пропозиции, которые он характеризует как «совершенно иную разновидность средств» по сравнению, например, с пропозицией «Здесь лежит мелок» и о которых он иногда говорит, что они вообще не являются пропозициями. Необходимые пропозиции — это такие пропозиции, отрицания которых назвали бы не просто ложными, но «невозможными», «непредставимыми», «немыслимыми» (говоря о них, Витгенштейн сам часто использует данные выражения). В их состав входят не только пропозиции чистой математики, но и пропозиции дедуктивной логики, пропозиции, которые по обыкновению назвали бы пропозициями о цветах, а также огромное количество других пропозиций.

Безусловно, Витгенштейн полагал, что такие пропозиции, в отличие от «опытных» пропозиций, нельзя «сопоставить с действительностью», что они «и не соответствуют, и не противоречат» ей. Однако самым важным в сказанном о них, и, определённо, одним из важнейших моментов всех этих лекций я считаю попытку объяснить, чем в точности они отличаются от опытных пропозиций. И эта попытка, насколько я могу судить, заключалась в формулировке в их отношении двух положений. А именно: (β') предложения, которые, скорее всего, посчитали бы их выражением, на самом деле «ничего не говорят» или «не имеют смысла», когда используются таким образом; (β'') предполагаемая бессмысленность подобных предложений при таком использовании объясняется тем, что они определённым образом соотносятся с «правилами грамматики». Но *чем* в точности является это соотношение с грамматическими правилами, из-за которого, как считает Витгенштейн, эти предложения не имеют смысла? Этот вопрос по-прежнему ставит меня в тупик.

Некоторое время я полагал (хотя не без сомнения), что Витгенштейн считает так называемые необходимые пропозиции *тождественными* определённым грамматическим правилам — взгляд, который привёл бы к выводу, что предложения, которые, скорее всего, назвали бы выражением необходимых пропозиций, на самом деле всегда выражают лишь правила грамматики. Как я думаю, Витгенштейн

¹³ Mind, январь 1954, No. 249. (Здесь и далее все номера страниц, приводимые Муром в ссылках на сказанное им ранее, указывают на соответствующие места в англоязычном источнике, то есть, в трёх номерах журнала Mind, уже упомянутых нами в приведённых выше примечаниях. — Прим. перев.)

действительно считал, что те же самые выражения, которые, скорее всего, назвали бы выражающими необходимые пропозиции, одинаково допустимо употреблять ещё и так, что в этом употреблении они выражают лишь правила грамматики. Однако я думаю, что Витгенштейн должен был понимать (хотя, как кажется, никогда не указывал на это в явном виде), что если это так, тогда будет верно следующее. В тех случаях, *когда* подобные выражения используются лишь для выражения правил грамматики, они используются совершенно иным образом, чем в тех случаях, когда, на его взгляд, они употребляются таким образом, что их, скорее всего, посчитали бы выражением необходимых пропозиций. Ведь он полагал (если только я не ошибаюсь), что для *всех* выражений, которые, скорее всего, посчитали бы выражающими необходимые пропозиции, верно то, что в *Трактате* утверждалось относительно особого случая «тавтологий». А именно: (1) при таком использовании они «не имеют смысла» и «ни о чём не говорят»; (2) тем не менее, в некотором смысле они являются «истинными». Хотя в данных лекциях Витгенштейн ясно даёт понять, что считает смысл, в котором они «истинны», совершенно отличным от того, в котором могут быть «истинными» опытные пропозиции. (Как я уже говорил (стр. 11), мне кажется, что Витгенштейн часто использует слова «пропозиция» и «предложение» таким образом, будто они имеют одно и то же значение. Возможно, это происходит потому, что немецкое слово «Satz» подходит и для того, и для другого. В результате и о предложениях говорится так, будто они могли бы *быть* «истинными».) Тем не менее, Витгенштейн, как я думаю, не мог считать, будто те же самые выражения, когда они используются лишь для выражения правил (он считал такое возможным), «не имеют смысла» — хотя, вероятно, он мог бы сказать, что они «ничего не говорят», поскольку об отдельном классе таких выражений, а именно о тех, что выражают правила дедукции¹⁴, он утверждал, что они не являются ни истинными, ни ложными. И действительно, по крайней мере, однажды, он высказался по поводу выражения, которое, скорее всего, посчитали бы выражающим необходимую пропозицию: «чтобы оно имело какое-либо значение, оно должно быть просто правилом игры». Предполагая, тем самым, что если оно используется для выражения правила, то оно имеет значение. Но в каком смысле Витгенштейн использует слово «правило», когда утверждает, что его «правила вывода» не являются ни истинными, ни ложными? Я считаю это важным вопросом, поскольку, на мой взгляд, Витгенштейн употреблял выражение «правила грамматики» в двух

¹⁴ В данном фрагменте источника используется выражение «rules of deduction». — Прим. перев.

разных смыслах, различие между которыми он никогда специально не проводил; и в одном из этих смыслов грамматическое правило будет истинным или ложным. О правилах грамматики Витгенштейн часто говорит так, будто они *позволяют* вам использовать определённые выражения и *запрещают* использовать другие. Это производит на меня впечатление, будто он называет «правилами» реальные высказывания, разрешающие или запрещающие вам использовать некие выражения — в этом случае он мог бы назвать правилом английской грамматики высказывание «You can't say „Two men was working in that field“» [«Нельзя сказать „Два человека *работал* в той области“»]. Данное употребление выражения «нельзя», разумеется, является привычным и естественным в случае с правилами игры, с которыми Витгенштейн постоянно сравнивает правила грамматики. К примеру, для шахматиста было бы совершенно естественным сказать своему противнику — если тот является новичком и не знаком с шахматными правилами — «Вам нельзя делать это» или «Вам нельзя делать этот ход», если новичок передвинул свою пешку с начальной позиции не на два, а на три поля вперёд. Но если мы используем слово «правило» так, что выражение «Вам нельзя делать это» в данном употреблении выражает правило, тогда очевидно, что правило *может быть* истинным или ложным. Ведь возможна ошибка относительно того, можно или нет делать тот или иной шахматный ход, и выражение «Вам нельзя делать это» будет истинным, если имеется *установившееся* правило игры в шахматы, запрещающее ход такого рода, и ложным, если подобного установившегося правила нет. Но если мы зададим вопрос «Чем в подобном случае будет правило, *являющееся* установившимся?», мы столкнёмся с совершенно другим смыслом «правила». Поскольку ответ на данный вопрос предполагает описание или предписание в отношении того способа, которым кто-либо *мог бы* действовать, независимо от того, действует ли так кто-либо вообще или нет. И относительно данного смысла «правила» мне кажется очевидным, что правило не может быть истинным или ложным, равно очевидным мне представляется и то, что любое выражение, предписывающее это правило, будет иметь смысл. В случае с правилами грамматики возможным действием, предписываемым подобным правилом, будет, конечно, некий способ использования слов или форм предложения в устной или письменной речи. И, как я полагаю, возможность использовать слово «правило» в этом смысле, в котором правило, очевидно, не может быть ни истинным, ни ложным, могло отчасти повлиять на Витгенштейна, когда он утверждал, что его «правила вывода» не являются ни истинными, ни ложными. Возможно, стоит отметить, что высказывание о том, что

подобное правило является *установившимся* правилом в данном языке (как, например, это предполагается высказыванием «You can't say „Two men *was* working in that field“»¹⁵ для английского языка), высказывание, которое действительно истинно или ложно, разумеется, является опытной пропозицией о том способе, которым слова и формы предложения реально используются в рассматриваемом языке. А потому, если мы предполагаем, что одно и то же выражение, которое иногда используется для выражения необходимой пропозиции, может также использоваться для выражения подобной опытной пропозиции, способы его употребления в этих двух случаях должны быть совершенно разными. Точно также совершенно разными должны быть способы употребления одного и того же выражения, если оно иногда используется для выражения необходимой пропозиции, а иногда — лишь для того, чтобы предписать возможный способ устной или письменной речи.

Поэтому я полагаю, что Витгенштейн никак не мог считать, что выражения, используемые таким образом, что их, скорее всего, посчитали бы выражающими необходимые пропозиции, используются тем же самым образом, как и в тех случаях, когда они употребляются для выражения правил грамматики. Но если это так, тогда *какое* соотношение с правилами грамматики он считал причиной, по которой выражения, использующиеся первым способом, не имеют смысла? Отвечая на этот вопрос, я по-прежнему пребываю в замешательстве — по следующей причине.

Как кажется, Витгенштейн часто даёт понять, что любое предложение, которое «построено в соответствии с» (это его собственная фраза) правилами грамматики своего языка, всегда имеет смысл. Так, к примеру, имеет смысл любое английское предложение, построенное в соответствии с правилами английской грамматики. Пусть это так. Однако он считал, например, что предложения « $2 + 2 = 4$ » или «Пропозиция о том, что любые две пропозиции не являются обе ложными, логически следует из пропозиции о том, что они обе истинны» (которые, определённо, можно было бы назвать выражающими необходимые пропозиции) являются в данном употреблении бессмысленными. Но тогда он, должно быть, полагал, что эти два предложения в данном употреблении не построены в соответствии с правилами (английской) грамматики. Мог ли он действительно считать, что они не построены в соответствии с правилами грамматики? Возможно, он так и считал, но я не знаю. Однако в уже процитированном мной фрагменте (стр. 13) по поводу высказывания Гельмгольца, что

¹⁵ Уже встречавшаяся формулировка: «Нельзя сказать „Два человека *работал* в той области“». — Прим. перев.

тот в состоянии представить четвёртое измерение, Витгенштейн, по-видимому, утверждает следующее. Если Гельмгольц проецировал предложение «Я могу представить, как мелок бросают в четвёртое измерение» «обычным методом проекции», тогда он говорил бессмыслицу. Но если бы он «проецировал» это предложение необычным способом, так, чтобы оно значило то же самое, что «Я могу представить, как мелок сначала исчезает, а затем появляется опять», тогда бы он говорил осмысленно. Но не является ли «проецирование обычным методом проекции» лишь метафорическим выражением для «использования в соответствии с установившимися правилами грамматики»? Если это так, тогда Витгенштейн здесь утверждает, что предложение, используемое в соответствии с установившимися правилами грамматики, может, тем не менее, *не иметь* смысла. Более того, тогда он подразумевает, что в особых случаях отсутствие у предложения смысла (частично) объясняется *именно* тем, что предложение используется в соответствии с обычными правилами. Тем не менее, я считаю вероятным, что он хотел провести различие между «проецированием обычным методом» и «использованием в соответствии с обычными правилами». Поскольку, по крайней мере, в одном фрагменте он настаивал на возможности «интерпретировать» любое правило разными способами, а также (если я его правильно понял) на невозможности добавить к какому-либо правилу однозначное правило его интерпретации. Следовательно, под «проецированием обычным методом» он, возможно, имел в виду *не* «использование в соответствии с обычными правилами», а «интерпретирование обычным способом». Это различие позволило бы ему считать, что, произнося своё бессмысленное предложение, Гельмгольц *не* использует данное предложение в соответствии с обычными правилами, хотя обычным способом интерпретирует те правила (какими бы они не были), в соответствии с которыми он использует данное предложение. Но для меня остается загадкой, как можно использовать это различие. Предположим, к примеру, что некий человек использует фразу «Я могу представить, как мелок бросили в четвёртое измерение» таким образом, что она значит то же самое, что «Я могу представить, как мелок сначала исчезает, а затем появляется опять». Тогда как кто-либо (в том числе сам этот человек) вообще может решить, что делает говорящий или пишущий? Производит ли он то, что Витгенштейн в одном месте назвал «изменением своей грамматики», то есть использует ли он первое выражение *не* в соответствии с обычными правилами, но в соответствии с правилами, по которым первая фраза значит то же, что и вторая? Или же он просто необычным образом «интерпретирует» те правила (какими бы они не были),

в соответствии с которыми он использует первое выражение? Поэтому я подозреваю, что говоря о том, что Гельмгольц, должно быть, использовал «обычный метод проекции», когда произносил своё бессмысленное предложение, Витгенштейн не проводит различия между использованием этого метода и использованием данного предложения в соответствии с обычными правилами. И, следовательно, он предполагает, что предложение, построенное в соответствии с обычными правилами, может, тем не менее, быть бессмысленным. Но тогда взгляд Витгенштейна мог бы заключаться в том, что, к примеру, выражение « $2 + 2 = 4$ », употреблённое так, что его, скорее всего, посчитали бы выражающим необходимую пропозицию, используется именно в соответствии с обычными правилами грамматики и, тем не менее, «не имеет смысла». А не имеет смысла отчасти *потому*, что оно используется именно в соответствии с обычными правилами. Ведь Витгенштейн не стал бы отрицать, что данное выражение *может* использоваться так, чтобы у него был смысл. Но я не знаю, состоял ли в этом его взгляд или нет.

Наконец, имеется еще одна причина, почему я затрудняюсь сказать, в чём состоял взгляд Витгенштейна на предложения, которые, скорее всего, посчитали бы выражением необходимых пропозиций. Если я не ошибаюсь, при изложении своей позиции Витгенштейн использовал выражения: (β') «не имеет смысла» (в качестве эквивалентов он часто употребляет выражения «бессмыслица», «бессмысленный» и даже «бесполезный») и (β'') «правила грамматики»; эти два выражения он употребляет постоянно на протяжении всех лекций. И вот с чем связано моё затруднение: на мой взгляд, имеются основания подозревать, что Витгенштейн не использует ни одно из этих выражений в каком-либо обычном смысле. И я не смог уяснить, как он их использует.

(β') Что касается выражения «не имеет смысла», то, как я считаю, Витгенштейн, несомненно, использует его так же, как в *Трактате* (афоризм 4.461), когда говорил, что тавтология не имеет смысла (*sinnlos*). В качестве примера того предполагаемого обстоятельства, что «тавтология» не имеет смысла, в данном афоризме приводится высказывание «Я ничего не знаю о погоде, если я знаю, что идёт дождь или дождя нет». Чтобы показать то же самое, в этих лекциях он пользуется очень похожим примером. В упомянутом фрагменте *Трактата* Витгенштейн также утверждал, что «тавтология» «ничего не говорит», и, как кажется, имел в виду то же самое, говоря, что она «не имеет смысла». Данное выражение он использует и в лекциях — по-видимому, в том же самом смысле. И я считаю абсолютно верным, что о человеке, знающем

только то, что идёт дождь или дождя нет, было бы правильно сказать, что он не знает ничего *о текущем состоянии погоды*. Но правильно было бы сказать о таком человеке, что он не знает *ничего вообще*? Не думаю. И всё же, насколько я могу судить, только в том случае, если бы так было сказано правильно, можно было бы обоснованно утверждать, что предложение «идёт дождь или дождя нет» «ничего не говорит» или «не имеет смысла». Поэтому я думаю, что Витгенштейн, утверждая, что «тавтологии» и другие предложения, которые, скорее всего, посчитали бы выражением необходимых пропозиций, «не имеют смысла» и «ничего не говорят», мог бы быть прав только в одном случае. Если бы он использовал эти два выражения довольно специфическим способом, отличным от любого из тех способов, которыми они обычно используются. Насколько я могу судить, если мы употребляем фразу «иметь смысл» любым обычным способом, предложение «Идёт дождь или дождя нет» *имеет* смысл. Поскольку мы должны согласиться с тем, что значение данного предложения отличается от значения предложения «Идёт снег или снега нет», предполагая, таким образом, что, поскольку они имеют разные значения, каждое из них имеет *некоторое* значение. И, аналогичным образом, если фраза «ничего не говорит» употребляется в любом смысле, в котором она обычно используется, высказывание о том что «Все „Sätze“ логики говорят одно и то же, а именно ничего», приводимое Витгенштейном в *Трактате* (афоризм 5.43), представляется мне, определённо, ложным. На использование Витгенштейном этих выражений в довольно специфическом смысле указывает, на мой взгляд, ещё и то обстоятельство, что в *Трактате* (афоризм 4.461) он, по-видимому, говорит, что «противоречия» «не имеют смысла» в том же самом смысле, что и «тавтологии». Несмотря на то, что в этом же фрагменте он утверждает, что вторые «безусловно истинны», тогда как первые «не истинны ни при каких условиях». Но если он использует эти выражения (а также выражения «бессмысленный» и «бессмыслица», которые, как я уже сказал, он употребляет как их эквиваленты) в несколько необычном смысле, тогда что это за смысл? Позже в (III) он специально поднимает вопросы «Что подразумевает решение о том, что предложение имеет смысл или не имеет смысла?» и «Каков критерий наличия смысла?». И говорит, что для ответа на эти вопросы ему придётся «погрузиться в нечто ужасное», но он обязан это сделать, чтобы «точно выразить» то, о чём только что говорил, и что, по его словам, он не «изложил правильно». Пытаясь ответить на эти вопросы или на этот вопрос (поскольку, как я считаю, он использует эти два выражения в одном и том же значении), он говорит о многих вещах, в том числе о том, что выражение «смысл» его самого ранее «вводило в

заблуждение». И затем сообщает, что, согласно его нынешним взглядам, «„смысл“ коррелятивен „пропозиции“» (очевидно, под «пропозицией» он здесь имеет в виду то, что ранее назвал «пропозицией в более узком смысле», то есть «опытную пропозицию», таким образом, исключая, к примеру, математические «пропозиции»). А поэтому, продолжает он, если выражение «пропозиция» не является «чётко отграниченным», тогда и выражение «смысл» также не является «чётко отграниченным». То, что он далее говорит о «пропозиции», я уже упоминал (стр. 9-10). А затем он предполагает, что, заявляя «Это не имеет смысла», мы всегда имеем в виду «Это бессмысленно в этой определённой игре». И отвечая на вопрос «Почему мы называем это „бессмыслицей“? Что означает, называть это так?», он замечает, что мы называем предложение «бессмысленным» «из-за некоторого сходства с предложениями, имеющими смысл» и что «бессмыслица всегда возникает из образования символов по аналогии с употребляемыми символами, но там, где они не имеют употребления». В итоге он заключает, что выражение «„имеет смысл“ является смутным и будет иметь разные смыслы в разных случаях», однако выражение «имеет смысл» полезно, точно так же как полезно выражение «игра», хотя, как и «игра», выражение «смысл» «меняет своё значение по мере того, как мы переходим от пропозиции к пропозиции». И добавляет: также как выражение «смысл» является смутным, смутными должны быть и выражения «грамматика», «грамматическое правило» и «синтаксис».

Но всё это, как мне представляется, не объясняет, как Витгенштейн использует выражение «не имеет смысла» в особом случае с «тавтологиями» и другими предложениями, которые, скорее всего, посчитали бы выражением необходимых пропозиций. Мы узнаём лишь о том, что в данном случае он, возможно, использовал данное выражение в другом смысле, отличном от того, в котором употреблял его в других случаях. Насколько я знаю, Витгенштейн лишь однажды действительно объяснил, как он использует данное выражение в особом случае с тавтологиями — когда в (III) он задал вопрос: «Что означает высказывание о том, что тавтология „ничего не говорит“?». Его ответ на данный вопрос был следующим: сказать, что « $q \supset q$ » «ничего не говорит» означает, что $p.(q \supset q) = p$; в качестве примера он привёл следующее: конъюнкция «Идёт дождь, и у меня или есть седина, или нет» = «Идет дождь». Если Витгенштейн действительно имел это в виду, и если (что, как кажется, так и есть) он употреблял выражение «ничего не говорит» в том же самом значении, что и «не имеет смысла», из этого следует один важный момент. А именно: он не

использовал выражение «не имеет смысла» одним и тем же образом в случае с «тавтологиями» и в случае с «противоречиями», поскольку, очевидно, он не стал бы утверждать, что $p.(q.\sim q) = p$. Однако это не даёт дополнительных разъяснений относительно того, как он *использовал* «не имеет смысла» в случае с тавтологиями. Ведь если он использует данное выражение любым обычным способом, то, на мой взгляд, он ошибается, утверждая, что «Идёт дождь, и у меня или есть седина, или нет» = «Идёт дождь». Поскольку, в соответствии с любым обычным словоупотреблением, мы должны будем сказать, что «смысл» выражения «У меня или есть седина, или нет» отличается, например, от смысла выражения «Мой рост равен шести футам или нет». И не должны утверждать, как, по-видимому, это делает он, что оба предложения ничего не говорят и поэтому говорят одно и то же.

В связи с употреблением им фразы «не имеет смысла», как мне кажется, следует обратить внимание ещё на одно положение, которое Витгенштейн не раз высказывал или имел в виду, поскольку оно отчасти может объяснить, почему он считал «противоречия» и «тавтологии» не имеющими смысла. В (I) он говорит, что «лингвистическим выражением» высказывания «Эту линию можно разделить пополам» является «„Эта линия разделена пополам“ имеет смысл». Однако одновременно настаивает на том, что «лингвистическим выражением» высказывания «Эта линия делима до бесконечности» является не «„Эта линия поделена до бесконечности“ имеет смысл» (он считал выражение «Эта линия поделена до бесконечности» бессмысленным) — таким «лингвистическим выражением» является «бесконечная возможность в языке». Следовательно, он полагал, что во многих случаях «лингвистическим выражением» высказывания «Возможно, чтобы p было истинным» или «было бы истинным» является: «Предложение „ p “ имеет смысл». И я не сомневаюсь, что здесь под «возможно» Витгенштейн имеет в виду то, что обычно называют (а позже, по другому поводу, он сам назвал) «логически возможным». Однако слова о том, что предложение « p » является «лингвистическим выражением» *пропозиции* « q », естественным образом означали бы, что предложение « p » и *предложение* « q » имеют одно и то же значение. Хотя, по той или иной причине, « p » можно назвать «лингвистическим выражением», а предложение « q » нельзя. Один из более поздних фрагментов в (III) также указывает на то, что Витгенштейн действительно полагал, что если выражение « p » является «лингвистическим выражением» *пропозиции* « q », то выражение « p » и *выражение* « q » имеют одно и то же значение. В данном фрагменте, объяснив, что под «возможностью» здесь понимается

«логическая возможность», он задает вопрос: «Не означает ли „Я не могу почувствовать его зубную боль“, того, что „Я чувствую его зубную боль“ не имеет смысла?», очевидно, предполагая, что правильным ответом будет: «Да, означает». Представляется, что в ряде других мест он также даёт понять, что пропозиция « p не может иметь места» (там, где это значит «Логически невозможно, чтобы p имело место») означает то же самое, что «Предложение „ p “ не имеет смысла». Я думаю, что содержащееся в *Трактате* утверждение о том, что «противоречия» «не имеют смысла» (*sinnlos*), можно было бы вывести из этого высказывания. Но почему тогда он считал, что «тавтологии» также «не имеют смысла»? Я думаю, что этот его взгляд, отчасти, мог бы быть выводом из конъюнкции одного его высказывания и одного его принципа. Высказывания: «Логически невозможно, что p », означает то же самое, что «Предложение „ p “ не имеет смысла». И принципа, о котором я уже упоминал (стр. 11) и который, по словам Витгенштейна, «даёт нам некоторую твёрдую почву». Согласно этому принципу, «если пропозиция имеет значение, её отрицание также имеет значение» (как я показал, по-видимому, здесь он использует выражение «пропозиция» в том же самом смысле, что и «предложение»). Если логически невозможно, чтобы отрицание тавтологии было истинным, и если верно, что «Логически невозможно, что p » означает то же самое, что «Предложение „ p “ не имеет смысла», тогда из конъюнкции его принципа и данного высказывания следует, что «тавтология» (или же нам следует говорить «любое предложение, выражающее тавтологию»?) также не имеет смысла. Но я не могу объяснить, почему он считал (если он так считал), что «Логически невозможно, что p » означает то же самое, что и «Предложение „ p “ не имеет смысла». И мне представляется, что если (как он, явно, думал) первая из этих двух пропозиций влечёт за собой вторую, то предложение «Логически невозможно, что p » также не должно иметь смысла. В самом деле, может ли это предложение иметь какой-либо смысл, если предложение « p » его не имеет? Но если «Логически невозможно, что p » не имеет смысла, тогда, насколько я могу судить, совершенно невозможно, чтобы оно могло означать то же, что и «Предложение „ p “ не имеет смысла», поскольку это второе выражение явно имеет смысл, если только «иметь смысл» понимается каким-либо обычным образом.

(β'') По поводу выражений «правила грамматики» или «грамматические правила» Витгенштейн замечает где-то в начале (I), где впервые вводит первое выражение, что, когда он говорит «грамматика не должна позволить мне сказать „зелёно-красный“», он «делает частью грамматики вещи, которые обыкновенно к ней

не относят». И сразу после этого он заявляет, что расположение цветов в цветовом октаэдре «является в действительности частью грамматики, а не психологии». Что «Существует такой цвет, как зелёно-синий» — это «грамматика». И что Евклидова геометрия это тоже «часть грамматики». Во время перерыва между лекциями (II) и (III) я написал для него небольшое сочинение, в котором сообщил, что не понял, как он использует выражение «правило грамматики», и привёл доводы, позволяющие считать, что он не использует его в обычном смысле. Хотя Витгенштейн и выразил одобрение по поводу моего сочинения, тогда он утверждал, что использует данное выражение в обычном смысле. Однако позже в (III) он сказал, что «любое объяснение использования языка» является «грамматикой», но если бы я объяснил значение слова «течёт», указав на реку, «для нас было бы неестественным называть это правилом грамматики». Это наводит на мысль, что к этому времени Витгенштейн сомневался, использует ли он выражение «правило грамматики» в его обычном смысле. О том же самом, по-видимому, свидетельствуют слова, сказанные им ранее в (III): как он заявил, мы употребили бы его «жаргон», если бы сказали, что осмысленность предложения зависит от того, «построено ли оно в соответствии с правилами грамматики или нет».

Я по-прежнему считаю, что он не использовал выражение «правила грамматики» в каком-либо обычном смысле, и я по-прежнему не могу уяснить, как он его использовал. Однако помимо его основного исходного утверждения (каким бы оно не было) по вопросу о связи между «правилами грамматики» (в его смысле) и необходимыми пропозициями имеется два других положения, на которых, как кажется, он настаивал более всего в связи с «правилами грамматики». А именно: (γ') все эти правила «произвольны», и (γ'') они «говорят лишь о символикке». О его трактовке этих двух положений непременно надо что-то сказать.

Что касается (γ'), то Витгенштейн часто и без оговорок утверждает, что все «правила грамматики» произвольны. Но в (II) он прямо указывает на два смысла «произвольности», в которых, как он считает, некоторые грамматические правила *не* «произвольны», а в одном месте в (III) говорит, что смысл, в котором все они произвольны, является «специфическим». Эти два смысла, в которых, согласно сказанному им в (II), некоторые грамматические правила *не являются* произвольными, суть следующие. (1) Смысл, в котором, по его словам, правила, касающиеся использования отдельных слов, всегда «в некоторой степени» *не* произвольны. Данное высказывание о правилах он считал следствием другого своего высказывания, о котором я упоминал ранее (стр. 7) — высказывания о том, что все отдельные слова

осмысленны, если только «мы связываем себя» посредством их использования. (2) Смысл, в котором сказать о правиле, что оно является установившимся правилом в используемом нами языке, означает сказать, что оно не является произвольным. Здесь Витгенштейн приводит следующий пример: если бы мы следовали правилу, согласно которому глагол «ненавидеть» является непереходным, данное правило было бы произвольным, но «если мы употребляем его [глагол «ненавидеть» — Прим. перев.] в том смысле, в котором мы на самом деле его употребляем», правило, которому мы следуем, не будет произвольным. Но каков тогда тот смысл «произвольности», в котором, как он считает, все грамматические правила *являются* произвольными? В (II) он обращается к данному вопросу снова и снова, пытаясь объяснить, что это за смысл, и привести доводы в пользу рассмотрения всех грамматических правил как произвольных в этом смысле. Вначале Витгенштейн попробовал изложить свою позицию, указав на невозможность «оправдать» какое-либо грамматическое правило (к этому способу выражения своего взгляда он прибегает и позже). Однако свою позицию он выразил также, указав на невозможность «приведения оснований» в пользу грамматических правил. Вскоре он пояснил, что имеет в виду: мы не можем приводить основания в пользу *следования* какому-либо определённом правилу, а не какому-то другому. Пытаясь объяснить, почему мы не в состоянии приводить основания в пользу следования какому-либо определённом правилу, он придает особое значение одному доказательству, которое излагается им в разных местах по-разному, и которое, надо признаться, я недостаточно понимаю. Две посылки этого доказательства, как мне кажется, вполне ясны. Согласно первой посылке (1), любому основанию «пришлось бы быть описанием реальности»; делая данное утверждение, Витгенштейн использует именно эти слова. Согласно второй (2), «любое описание реальности должно допускать свою истинность и ложность» (здесь снова его собственные слова); по-моему, этим Витгенштейн предполагает, в частности, что любое ложное описание должно быть осмысленным. Но чтобы довести доказательство до конца, ему приходится утверждать нечто вроде: «и если бы оно было ложным, оно должно было бы быть высказанным в языке, не использующем данную грамматику». Именно это мне не вполне понятно. Иллюстрируя свою мысль, Витгенштейн говорит следующее: то обстоятельство, что «я использую „сладкое“» так, что «слаще» имеет значение, а «одинаковое» использую так, что «более одинаковое» значения не имеет, невозможно объяснить ссылкой на «качество в реальности». И приводит соответствующий довод: «Если бы это объяснялось „качеством“ в реальности, тогда было бы возможно утверждать, что

реальность не имеет этого качества, которое грамматика запрещает». А ранее он заявил: «Я не могу сказать, на что должна была быть похожа реальность, чтобы то, что не имеет смысла, имело бы смысл, поскольку для того, чтобы это сделать, я должен буду использовать эту новую грамматику». Хотя я и не могу представить ясного изложения его полного доказательства, из того, что я уже изложил, вытекает одно важное обстоятельство, на которое сам Витгенштейн никогда не указывал явным образом. А именно: из предыдущего изложения следует, что Витгенштейн использует фразы «описание реальности» и «качество в реальности» в узком смысле — в таком смысле, при котором ни одно высказывание, говорящее о том, что некое выражение фактически используется некоторым образом, не является «описанием реальности» и не описывает «качество в реальности». Очевидно, что Витгенштейн так использует данные термины, что высказывания о фактическом употреблении выражения (хотя такие высказывания, без сомнения, являются опытными пропозициями) нельзя назвать «описаниями реальности». Он ограничивает термин «описания реальности» выражениями, в которых термины не используются в качестве имен самих себя. Если бы не данное ограничение, не составляло бы никакого труда сказать, на что должна была быть похожа реальность, чтобы выражение «более одинаковый», являющееся бессмысленным, имело смысл: мы можем сказать, что выражение «более одинаковый» имело бы смысл, если бы оно использовалось для обозначения того, что теперь мы понимаем под «слаще». Очевидно, что (английская) грамматика не запрещает нам производить пропозицию о том, что фраза «более одинаковый» используется таким вот способом — даже если эта пропозиция ложна (а я не знаю, наверняка, не используются ли таким способом слова «более одинаковый», например, в каком-нибудь африканском языке). И, разумеется, неверно, что выражающее данную пропозицию предложение не имеет смысла (в английском языке).

Поэтому представляется, что, хотя в (II) Витгенштейн и заявил, что под «произвольностью» всех «грамматических правил» он понимает невозможность «приведения оснований» в пользу следования какому-либо определённом правилу, а не другому, он имел в виду только то, что мы не можем привести подобных оснований, которые при этом одновременно являются: (а) «описаниями реальности» и (б) «описаниями реальности» *определённого рода*. А именно, такими описаниями реальности, которые не упоминают или ничего не говорят о каком-либо определённом слове или другом выражении (хотя, разумеется, в них должны использоваться слова или другие выражения). Как мне представляется, то, что он имел в виду именно это,

можно прояснить с помощью более позднего фрагмента в (III), где Витгенштейн сравнивает правила дедукции с «установлением единицы измерения длины» (или, как он скажет позже, «стандарта» длины). Здесь он говорит: «Основания (если таковые имеются) для установления единицы измерения длины не делают это установление „непроизвольным“ в том же самом смысле, в котором не является произвольным высказывание о том, что длина данного предмета является такой-то». И добавляет: «Правила дедукции аналогичны установлению единицы измерения длины». А затем, используя « $3 + 3 = 6$ » в качестве примера правила дедукции, замечает: «„ $3 + 3 = 6$ “ — правило, относящееся к способу, о котором мы поговорим ... это подготовка к описанию, точно так же как установление единицы измерения длины является подготовкой к измерению». Представляется поэтому, что здесь Витгенштейн допускает, что в пользу следования отдельному «грамматическому правилу» могут иногда приводиться основания *некоего рода*, но только не основания того особого рода, которые правильно организованная операция измерения (как только значение «фута» установлено) может дать, например, для высказывания о том, что длина отдельного стержня меньше четырех футов. В этой связи Витгенштейн действительно упоминает, что некоторые «грамматические правила» следуют из других; тогда, разумеется, наличие следования может приводиться как основание для того, чтобы говорить в соответствии с ними. Но в этом случае он, несомненно, сказал бы, что приводимое основание не является «описанием реальности». Однако очевидно, что в пользу следования отдельному правилу могут приводиться и основания, которые в любом обычном смысле являются «описаниями реальности». Так, например, определённый человек в качестве основания для именованной длины «футом» может привести «описание реальности», сказав, что именно так слово «фут» обычно используется (в английском языке), когда его употребляют для обозначения единицы длины. И в этом случае, разумеется, можно было бы также указать на основание, по которому употребляемое нами сейчас слово «фут» первоначально использовалось в английском языке в качестве имени определённой длины: рассматриваемая длина близка длине тех частей тела взрослого человека, которые в английском языке обозначаются тем же словом [*«feet»* — прим. перев.]. Я всё же полагаю, что в этих случаях Витгенштейн мог бы обоснованно настаивать на том, что: (a) приводимое основание, хоть и является «описанием реальности», является таким описанием, которое «упоминает» или говорит нечто о слове «фут», а не просто *использует* это слово; (b) основание для следования правилу называть «футом» эту определённую длину не является основанием в том же

самом смысле слова «основание», в котором правильно проведённое измерение может дать «основание» для высказывания о том, что длина некоего стержня меньше четырех футов. Очевидно, что «основание» *действовать* определённым образом (как, например, в данном случае: использовать слово «фут» для определённой длины) не может быть основанием для подобного действия в том же самом смысле слова «основание», в котором основание думать, что нечто имеет место, может служить основанием для подобной мысли. И после всех этих объяснений становится довольно ясно, в каком смысле Витгенштейн использовал слово «произвольный», говоря о произвольности всех грамматических правил.

И всё же остается ещё одна вещь, о которой он говорил в данной связи, приводящая меня в чрезвычайное замешательство. Начиная сравнивать правила дедукции с установлением единицы измерения длины, Витгенштейн говорит буквально следующее: «Высказывание о том, что правила дедукции не являются ни истинными, ни ложными, способно вызвать ощущение дискомфорта». В результате создаётся впечатление, будто он полагал, что высказывание о том, что правила дедукции ни истинны, ни ложны, следует из высказывания о том, что они произвольны, а сравнение правил дедукции с установлением единицы измерения длины устраняет это ощущение дискомфорта, то есть позволяет увидеть, что они действительно ни истинны, ни ложны.

Теперь, помимо других примеров, связанных со сравнением правил дедукции с установлением единицы измерения длины, он приводит пример правила дедукции « $3 + 3 = 6$ » и довольно много о нём рассуждает. Безусловно, когда мне говорят, что « $3 + 3 = 6$ » — ни истинно, ни ложно, это вызывает во мне ощущение дискомфорта. Однако, как я полагаю, это ощущение дискомфорта появляется только потому, что, слыша это, вы думаете о том, что *выражение* « $3 + 3 = 6$ » используется так, как его употребляют чаще всего, а именно так, что его, скорее всего, можно было бы посчитать выражающим необходимую пропозицию. На мой взгляд, это ощущение дискомфорта исчезло бы полностью, если бы было разъяснено, что человек, который так говорит, *не* использует выражение « $3 + 3 = 6$ » таким образом, а использует его совершенно иным образом (который ранее, на стр. 291, я попытался отдельно охарактеризовать), то есть так, что оно используется лишь для указания на возможный способ устной и письменной речи, фактически принятый или нет, хотя в данном случае правило устной и письменной речи для указанного способа является, по существу, твёрдо установившимся правилом. Я уже говорил, что в этих лекциях Витгенштейн, насколько мне известно, никогда отчётливо не различал эти два разных способа использования одного и того же

выражения (например, выражения « $3 + 3 = 6$ »). При этом я думал, что Витгенштейн действительно полагал, что, к примеру, выражение « $3 + 3 = 6$ » одинаково допустимо использовать как первым, так и вторым способом, и этим его представлением можно отчасти объяснить его собственное заявление о том, что правила дедукции ни истинны, ни ложны (стр. 291). Ведь если выражение « $3 + 3 = 6$ » используется вторым способом, оно никак не может быть истинным или ложным, и это мне представляется совершенно очевидным. Однако я не могу избавиться от ощущения, что в этом фрагменте в (III), где Витгенштейн сравнивал правила дедукции с установлением единицы измерения длины, он фактически имел в виду следующее: и при использовании данного выражения первым способом (то есть когда « $3 + 3 = 6$ », скорее всего, можно было бы посчитать выражающим необходимую пропозицию), данное выражение всё равно не выражает ни истинной, ни ложной пропозиции.

На мой взгляд, в том, что Витгенштейн фактически говорит о « $3 + 3 = 6$ » в данном фрагменте, следует различать три разных пропозиции. Из них первые две кажутся мне абсолютно верными, но третья представляется не вытекающей из первых двух и чрезвычайно сомнительной. (1) Он начал с вопроса: «Одно ли и то же „Я положил 6 яблок на камин“ и „Я положил 3 яблока сюда и ещё 3 яблока сюда“?». Затем, обратив внимание на то, что счёт до трёх в случае с каждой из двух разных групп яблок и получение числа «6» при подсчёте *всех* яблок — это «три разных опыта», он сказал: «Вы можете представить, что кладёте сюда две группы по 3 яблока, а затем находите только 5 яблок». И вот те две пропозиции, которые я считаю определённо истинными: (a) вы можете представить то, что, по его словам, вы можете представить; (b) (он это также сказал) « $3 + 3 = 6$ » не «предсказывает», что после двух опытов счёта до 3 в случае с каждой из групп яблок, выложенных вами на камин, вы также получите третий опыт, посредством которого обнаружите 6 яблок, подсчитав *все* находящиеся там яблоки. Другими словами, он утверждает, что пропозиция « $3 + 3 = 6$ » вполне согласуется с обнаружением только 5 яблок посредством вашего третьего опыта подсчёта. Это второе высказывание мне также представляется верным, поскольку я считаю лишь вопросом опыта то, что, положив на камин две группы по 3 яблока, вы обнаружите — в ситуации, которую рассматривает Витгенштейн (например, ни одно яблоко не забрали), — что их там 6. Иными словами, то, что яблоки не исчезают просто так без видимой причины, является лишь вопросом опыта. И должно быть очевидным, что « $3 + 3 = 6$ » не предполагает ничего кроме: для любого времени и любого места верно, что *если* имеется две разные группы яблок, каждая числом по 3, то *в это время* в

данном месте имеется 6 яблок — « $3 + 3 = 6$ » ничего не говорит о будущем времени. Но (2) Витгенштейн добавляет: если, положив на камин две группы по 3 яблока и обнаружив там только 5 яблок, вы сказали (и, разумеется, можете сказать в ситуации, рассматриваемой Витгенштейном), что «одно, должно быть, исчезло», это последнее высказывание *«значит только* „Если вы придерживаетесь арифметического правила « $3 + 3 = 6$ », вы *обязаны сказать* „Одно, должно быть, исчезло“». Именно это его утверждение (при предполагаемых условиях «Одно, должно быть, исчезло» *значит только*: если вы придерживаетесь некоторого правила, вы обязаны *так сказать*) кажется мне спорным и не вытекающим из первых двух истинных пропозиций, которые я привёл в пункте (1). (Витгенштейн уже говорил нечто подобное в (I) в связи со своим довольно парадоксальным высказыванием об Евклидовой геометрии как «части грамматики»; поскольку там он сказал, что в пропозиции Евклида «Три угла треугольника равны двум прямым углам» утверждается следующее: «если с помощью измерения вы получите для суммы трёх углов какой-либо результат, отличный от 180° , вы скажете, что совершили ошибку».)

Однако мне довольно трудно понять, что именно он имел в виду, утверждая, что при данных условиях слова «Одно, должно быть, исчезло» *значат только* «Если вы придерживаетесь арифметического правила „ $3 + 3 = 6$ “, вы обязаны так сказать». Разумеется, моё представление о сомнительности того, что он имел в виду, определено моим представлением о том, что он имел в виду.

Конечно, условия, в виду которых Витгенштейн говорит «„Одно, должно быть исчезло“ *значит только* это», чрезвычайно необычны: возможно, их никогда не существовало, и они никогда не возникнут. Однако, как я уже сказал, я полностью согласен с Витгенштейном в том, что они *могли бы* иметь место — что я в состоянии *представить* себе данную ситуацию. И вопрос о том, будут ли при данных условиях слова «Одно, должно быть, исчезло» *означать только* то, что он говорит, затрагивает, как мне кажется, чрезвычайно важную проблему, касающуюся не только того, что произошло бы при этих чрезвычайно неправдоподобных условиях, но и того, что имеет место при обычных условиях.

Сначала я попытаюсь сформулировать, настолько точно, насколько могу, как я понимаю предположенные Витгенштейном условия. И я изложу эти условия в таком виде, в котором Витгенштейн посчитал бы сказанное верным в отношении меня, если бы я оказался в данных условиях. Насколько я понимаю, Витгенштейн допускает следующее. (1) Я буду знать (поскольку ранее я правильно подсчитал), что

действительно положил на камин две группы яблок, в каждой из которых было по 3 яблока и не больше. (2) Я буду знать, благодаря произведённому *позже* подсчёту, что *в это время* на камине только 5 яблок. (3) Я также буду знать (поскольку всё время веду наблюдение), что не произошло ничего такого, что могло бы объяснить, почему теперь на камине 5 яблок, хотя перед этим я положил туда $3 + 3$ яблока (к примеру, я буду знать, что никто не забирал ни одного яблока, яблоко не падало с камина, не перелетало по воздуху). И, наконец, (4) (и это, если не ошибаюсь, наиболее важно для его задачи) Я *не* буду знать, благодаря какой-либо операции подсчёта, выполненной мной или другим человеком, сообщившим мне свой результат, что я на самом деле положил на камин 6 яблок, — а потому, если бы я стал утверждать, что на самом деле положил на камин 6 яблок, это было бы лишь выводом из пропозиции о том, что я действительно положил туда $3 + 3$ яблока, в истинности которой, согласно пункту (1), я *уже* убедился с помощью подсчёта.

При условиях, сформулированных в пунктах (1) и (3), я, разумеется, сильно бы удивился, обнаружив истинность того, что изложено в пункте (2), и для меня было бы естественным заявить, что одно яблоко, должно быть, исчезло. Хотя, думаю, также естественным для меня было бы выразить своё удивление фразой, не содержащей слова «должно», например, воскликнув «Как! Одно исчезло!». Если я не ошибаюсь, именно в виду этих условий Витгенштейн утверждает, что если бы я действительно использовал слова «Одно, должно быть, исчезло», чтобы сделать утверждение, то эти слова «означали бы только»: «Если я придерживаюсь арифметического правила „ $3 + 3 = 6$ “, я обязан сказать, что одно яблоко, должно быть, исчезло».

Прежде всего, у меня появились некоторые сомнения относительно двух отдельных моментов, связанных с тем, что именно Витгенштейн подразумевал под словами «вы обязаны сказать так». Вот первый момент. Поначалу я считал, что Витгенштейн мог использовать слова «сказать так» не вполне корректно — имея в виду «сказать слова „Одно, должно быть, исчезло“» (или, разумеется, любые эквивалентные слова, например в другом языке). Но теперь я не вижу причин полагать, будто он не использует слово «сказать» совершенно корректно, то есть так, как мы обычно его используем, подразумевая «утверждать». И для этой моей позиции есть реальные основания. Одно основание — среди предполагаемых Витгенштейном условий имеется такое, которое я обозначил (1), а именно: я буду *знать*, что действительно положил $3 + 3$ яблока на камин; и, как я думаю, он явно считал, что если бы я знал это, то я бы не просто сказал слова «Я положил туда $3 + 3$ яблока», но также *утверждал* бы, что это

сделал — данное высказывание не кажется мне безусловно истинным, хотя, если бы я знал, что положил на камин $3 + 3$ яблока, я бы определённо *захотел* утверждать, что я это сделал, если бы только не желал солгать. Вот второй момент. Что во фразе «Я буду *обязан* сказать так» Витгенштейн подразумевал под словом «обязан»? Эти слова могут естественным образом означать следующее: у меня не получится следовать правилу « $3 + 3 = 6$ », если я не выскажу утверждения о том, что одно яблоко, должно быть, исчезло — если, к примеру, я просто не сделаю никакого утверждения. Но, по моему твёрдому убеждению, Витгенштейн не стал бы утверждать, что у меня не получится следовать правилу (в дальнейшем для краткости будем называть это «нарушением» правила), если я просто не скажу, что одно яблоко, должно быть, исчезло. Я считаю, что он явно имел в виду другое: я нарушу правило только тогда, когда сделаю некоторое утверждение, несовместимое с утверждением о том, что одно яблоко, должно быть, исчезло, например, когда стану утверждать, что ни одного яблока не исчезло.

Если я прав по поводу этих двух моментов, то позицию Витгенштейна относительно того, какое значение слов «Одно, должно быть, исчезло» будет единственно возможным при предполагаемых условиях, можно прояснить следующим образом — эти слова будут означать только: «Если я утверждаю, что положил $3 + 3$ яблока на камин, я придерживаюсь правила „ $3 + 3 = 6$ “, если также утверждаю, что одно яблоко, должно быть, исчезло, и нарушаю данное правило, если делаю любое утверждение, несовместимое с утверждением о том, что одно яблоко, должно быть, исчезло». И в дальнейшем я буду предполагать, что в этом и состояла его позиция.

Но тогда возникает вопрос. Зачем Витгенштейну было считать, что при предполагаемых условиях слова «Одно, должно быть, исчезло» будут «означать только» пропозицию, содержащую ссылку на арифметическую пропозицию « $3 + 3 = 6$ »? Как появляется «6»? Как я думаю, ответ на этот вопрос заключается в следующем: Витгенштейн допускает, что пропозиции, данные мне как известное согласно условиям (1), (2) и (3) моего описания, — не единственное, из чего при предполагаемых условиях выводится пропозиция о том, что одно яблоко исчезло (разумеется, фраза «должно быть», как это часто бывает и с «должно», указывает на выводимость из *некоторых* пропозиций). По-моему, Витгенштейн допускает, что в состав необходимых для такого вывода пропозиций входит также пропозиция «Я положил 6 яблок на камин», о которой, в соответствии с пунктом (4) моего описания, я *не* знаю как о результате какой-либо операции подсчёта, а знаю (если знаю вообще) только как о выводе из пропозиции «Я положил $3 + 3$ яблока». И я считаю, что причиной, по которой

Витгенштейн утверждает, что при предполагаемых условиях «Одно, должно быть, исчезло» будет «означать только» то, что он называет в качестве единственно возможного значения данного выражения, является следующее. Витгенштейн полагал, что при условиях, описанных в пунктах (1) и (4), это предложение «Я положил 6 яблок на камин» *не* будет означать того, что оно означало бы, если бы я обнаружил, что кладу 6 яблок, подсчитав *все* яблоки, которые кладу на камин. Но поскольку я этого не обнаружил, данное предложение будет «означать только»: «Я следую правилу „ $3 + 3 = 6$ “, если утверждаю, что положил 6 яблок, и нарушаю данное правило, если делаю любое утверждение, несовместимое с утверждением о том, что я положил 6 яблок». Это пропозиция, которую, дабы избежать громоздких повторений, я в дальнейшем буду называть «В». Таким образом, я считаю, что Витгенштейн имеет в виду следующее: при условиях (1) и (4) слова «Я положил 6 яблок на камин» будут «означать только» В. И я думаю, что тот важный вопрос, который затрагивает утверждение Витгенштейна о единственно возможном значении выражения «Одно, должно быть, исчезло» при условиях (1), (2), (3) и (4) — это вопрос о том, будет ли предложение «Я положил 6 яблок» при условиях (1) и (4), которые могут встретиться довольно часто, «означать только» В. Разумеется, выражение «означать только» используется в том же самом смысле (каким бы он не был), в каком оно употребляется в отношении «Одно, должно быть, исчезло».

Но теперь возникает вопрос. В каком смысле Витгенштейн использует выражение «означать только»? Допустим, кто-нибудь говорит нам, что при условиях (1) и (4) предложение «Я положил 6 яблок на камин», если оно используется для того, чтобы сделать утверждение, будет «означать только» В. Тогда, я думаю, наиболее естественной интерпретацией данных слов была бы следующая: тот, кто при условиях (1) и (4) использует данное предложение для того, чтобы сделать утверждение, будет использовать его, чтобы утверждать В. Однако мне представляется совершенно невероятным, чтобы кто-нибудь когда-нибудь действительно использовал выражение «Я положил 6 яблок» для утверждения В; также невероятно, чтобы кто-нибудь когда-нибудь использовал выражение «Одно, должно быть, исчезло», для утверждения того, что, по Витгенштейну, было бы «единственным значением» этих слов при условиях (1), (2), (3) и (4). В обоих случаях утверждение, о котором говорится как о «единственном значении» некоего выражения, это утверждение *об* обычном значении рассматриваемого выражения. Речь о том, что вы будете рассуждать в соответствии с определённым правилом, используя рассматриваемое выражение для утверждения

того, что оно обычно означает, и будете нарушать данное правило, делая любое утверждение, несовместимое с этим обычным значением. И я считаю совершенно невероятным, чтобы кто-нибудь когда-нибудь использовал некое выражение, чтобы сделать подобное утверждение *об* обычном значении рассматриваемого выражения. И в обоих наших случаях совершенно ясно, что кто-либо, действительно использующий рассматриваемое выражение для утверждения, использовать бы его, чтобы *сделать* такое утверждение, которое соответствует обычному значению этого выражения. А не для того, чтобы сделать утверждение *о* его обычном значении — таком значении, которое, как сказал или предполагал Витгенштейн, будет его «единственным значением» при описанных условиях. Не думаю, что Витгенштейн когда-либо хотел произнести какое-либо из этих неправдоподобных высказываний. У него не было намерения утверждать, что предложение «Одно, должно быть, исчезло» когда-либо будет использовано (или что его было бы допустимо использовать) для высказывания такого утверждения, которое, по его словам, было бы его «единственным значением» при предполагаемых условиях. Но если это так, тогда как он использует выражение «означать только»? На мой взгляд, он использует данное выражение — не в его наиболее естественном смысле, но довольно свободно, лишь в более или менее естественном смысле, — чтобы сказать следующее: утверждение, которое, по его словам, будет «единственным значением» данного выражения при описанных условиях, будет *той* истинной пропозицией, которая больше всего похожа на другую пропозицию, которую Витгенштейн считал ложной, но о которой он знал, что она обыкновенно считается истинной. Рассмотрим случай с предложением «Я положил 6 яблок». Если Витгенштейн предполагал (а я думаю, что он предполагал), что при условиях (1) и (4) данное предложение будет «означать только» В, тогда пропозицией, которую он считал ложной, является следующая пропозиция: если я положил $3 + 3$, тогда *с необходимостью* будет истинным, что я положил 6. А пропозиция, которую Витгенштейн считал *той* истинной пропозицией, что больше всего похожа на данную ложную пропозицию — той истинной пропозицией, которая поэтому могла ввести в заблуждение людей, считавших истинной пропозицию, которую Витгенштейн признаёт ложной, — является следующая пропозиция: если «Я положил $3 + 3$ » истинно, то В будет истинным. По моему мнению, он на самом деле полагал, что пропозиция о том, что, кладя $3 + 3$ яблока на камин, я *с необходимостью* кладу туда 6 яблок, является ложной. Он полагал, что я могу представить, что, кладя на камин $3 + 3$ яблока, я, например, кладу туда только 5. Что даже если на камине находится $3 + 3$ яблока, тем

не менее, я могу представить, что если бы кто-нибудь правильно подсчитал, сколько всего яблок *в то самое время*, то он мог бы обнаружить, что их там только 5.

Но независимо от того, полагал ли он или нет (а я считаю, что полагал), что, кладя $3 + 3$ яблока на камин, я необязательно кладу 6, я считаю совершенно очевидным, что Витгенштейн был уверен в другом положении, отношение которого к данному положению мне не ясно. А именно, Витгенштейн полагал, что в арифметике выражение « $3 + 3 = 6$ » *никогда* (даже если его, скорее всего, посчитали бы выражающим необходимую пропозицию) не используется для выражения пропозиции, из которой следует, что если я положил $3 + 3$, то я обязательно положил 6. Как мне кажется, данный взгляд вытекает из двух других его убеждений следующего характера. (1) (как подсказывает его фраза «арифметическое правило „ $3 + 3 = 6$ “») Выражение « $3 + 3 = 6$ », как оно используется в арифметике, *всегда* выражает лишь «правило грамматики». (2) Правила грамматики «говорят лишь о символикe». Мне нужно будет вкратце охарактеризовать, в чём, на мой взгляд, состоит серьёзная трудность при понимании того, что Витгенштейн в точности имел в виду, заявляя, например, что « $3 + 3 = 6$ » «говорит лишь о символикe». Однако я не сомневаюсь, что он имел в виду, как минимум, следующее. Вы будете говорить в соответствии с данным правилом, если, *утверждая*, что вы положили $3 + 3$, также *утверждаете*, что положили 6, и будете нарушать данное правило, если, *утверждая* первое, вы сделаете какое-либо утверждение, несовместимое с утверждением второго. При этом из того, что вы придерживаетесь данного правила, ни в коем случае не следует, что утверждаемое вами будет *истинным*, а из того, вы нарушаете данное правило, не следует, что утверждаемое вами будет *ложным*. В обоих случаях, как он полагает, то, что вы утверждаете, *может* быть истинным, но также *может* быть и ложным. И мне думается, что основание, позволяющее Витгенштейну придерживаться подобного взгляда, можно прояснить, обратив внимание на следующее. Поскольку (как Витгенштейн предполагает своей фразой «арифметическое правило „ $3 + 3 = 6$ “») « $3 + 3 = 6$ » является твёрдо установившимся правилом (если оно является правилом грамматики вообще), вы будете пользоваться языком «правильно» (или, в соответствии с его употреблением слова «грамматика», будете говорить «грамотно»), если вы придерживаетесь данного правила. И вы будете пользоваться языком «неправильно» (или, в его употреблении слова «грамматика», будете повинны в неграмотной речи), если вы нарушаете данное правило. При этом из того, что вы пользуетесь языком правильно, «в согласии с установившимся правилом», ни в коем случае не следует, что

утверждаемое вами при этом правильном использовании языка является «правильным» в совершенно другом смысле, в котором «Это правильно» = «Это истинно». А из того, что вы пользуетесь языком неправильно, не следует, что утверждаемое вами при этом неправильном использовании языка является «неправильным» в совершенно другом смысле, в котором «Это неправильно» = «Это ложно». Очевидно, что вы можете пользоваться языком одинаково правильно, используя его для утверждения как чего-то ложного, так и чего-то истинного. И, аналогично, пользуясь языком неправильно, вы с равной лёгкостью можете утверждать посредством этого неправильного использования языка как нечто истинное, так и нечто ложное. Например, из того, что вы используете слово «фут» «правильно» (то есть для обозначения такой длины, для которой это слово обычно используется в английском языке), ни в коем случае не следует, что, делая такое утверждение, как «Длина этого стержня меньше четырёх футов», вы делаете истинное утверждение. А если бы вы использовали это слово «неправильно» — для обозначения такой длины, для которой в английском языке принято использовать слова «дюйм» или «ярд», — из этого бы ни в коем случае не следовало, что любое утверждение, которое вы сделали, неправильно используя слово «фут», является ложным. Я думаю, что Витгенштейн считал, что, аналогично, вы будете использовать фразу «Я положил 6» правильно, если, утверждая, что вы положили $3 + 3$, вы также утверждаете, что положили 6. И неправильно, если, утверждая, что вы положили $3 + 3$, вы отрицаете, что положили 6 или даже просто утверждаете, что, возможно, вы не положили туда 6. И что это и есть *та* истинная пропозиция, которая побуждает людей допускать (и это он считал ложным), что в арифметике « $3 + 3 = 6$ » используется для выражения пропозиции, из которой следует, что если я положил $3 + 3$, то я с необходимостью положил 6.

И я думаю, что этот взгляд Витгенштейна также объясняет, что он имел в виду, делая столь озадачивающее утверждение: $3 + 3 = 6$ (и, аналогичным образом, *все* правила дедукции) не является ни истинным, ни ложным. Утверждая это, Витгенштейн имел в виду, главным образом, не то, что (как я предполагал ранее, стр. 291) $3 + 3 = 6$ является правилом в том смысле, в котором правила, очевидно, не могут быть ни истинными, ни ложными. На мой взгляд, он имеет в виду, что «истинно» используется им в узком смысле — в котором он мог бы сказать следующее: $3 + 3 = 6$ только тогда истинно, когда из этого следует (что он отрицал), что если я положил $3 + 3$ яблока на камин, то я обязательно положил 6. То есть в таком смысле, что даже если иногда (как я предположил, стр. 291) он использует слово «правило» в другом смысле, в котором

пропозиция «Нельзя сказать, что вы положили $3 + 3$, и отрицать, что положили 6» рассматривается им как истинная в любом обычном смысле, он всё же сказал бы, что данная пропозиция не является «истинной», поскольку в ней говорится о том, как слова фактически используются. Я думаю, что он использовал слова «истинно» и «ложно» в узком смысле, так же как в узком смысле он использовал словосочетание «описание реальности» (выше, стр. 300). То есть в таком смысле, в котором ни одну пропозицию об использовании слов нельзя назвать «истинной» или «ложной».

И причина, по которой я сомневаюсь в правоте Витгенштейна, когда он считал (если он действительно считал) неверным, что, кладя $3 + 3$ яблока на камин, я с необходимостью кладу 6 яблок, состоит в следующем. Я не думаю, что я способен представить, что, кладя $3 + 3$ яблока, я не кладу 6. Как я уже сказал (стр. 303), я согласен с Витгенштейном в том, что я в состоянии представить, как, положив на камин $3 + 3$ яблока, я в последующее время обнаружу, что их там только 5. Даже при условиях, приведённых в пункте (3) моего описания условий, предполагаемых Витгенштейном. Думаю, я в состоянии представить, что одно действительно исчезло. Однако то, могу ли я представить, что, кладя $3 + 3$ яблока, я не кладу 6, или представить, что в какое-либо время на камине лежит $3 + 3$ яблока, а их в то же время там не 6, по-видимому, является совершенно другим вопросом. Тем не менее, я признаю, что не думаю, будто из пропозиций о том, что я кладу 6 яблок, или что на камине их было 6, обязательно вытекает следующее положение: *если бы кто-нибудь правильно подсчитал, он бы обнаружил, что их там 6*. Я имею в виду лишь то, что я не могу представить данные гипотетические пропозиции не истинными: просто я не думаю, что способен представить это. И я также не вижу основания полагать, что в арифметике выражение « $3 + 3 = 6$ » никогда не используется для выражения пропозиции, из которой следует, что, если я положил $3 + 3$, я положил 6. Я не убеждён, что в арифметике данное выражение *всегда* выражает только «грамматическое правило» (то есть правило о том, какой язык будет корректно использовать), даже если иногда оно выражает «грамматическое правило». Витгенштейну не удалось устранить то «ощущение дискомфорта», которое возникает у меня, когда мне говорят, что « $3 + 3 = 6$ » и « $(p \supset q \cdot p)$ влечёт q » не являются ни истинными, ни ложными.

(γ'') Что касается высказывания о том, что правила грамматики «говорят лишь о символике», то Витгенштейн никогда, по крайней мере, в моём присутствии, не указывал в явном виде на то, что такое выражение, как « $2 = 1 + 1$ », может употребляться для выражения, как минимум, трёх совершенно разных пропозиций. Оно

может употребляться (1) таким образом, что всякий способен понять, для выражения какой пропозиции или правила оно используется, если только он понял, как используется знак « \Rightarrow », но не понял выражение «2» или выражение « $1 + 1$ » иначе, нежели как имена самих себя (что называется «автонимно»). Однако оно может также употребляться (2) таким образом, что никто не в состоянии понять, для выражения какой пропозиции или правила оно используется, если он не понял не-автонимно знака « \Rightarrow » или выражения « $1 + 1$ », но ему не требуется понимать выражение «2» иначе, чем автонимно. Или же оно может употребляться (3) таким образом, что никто не в состоянии понять, для выражения какой пропозиции или правила оно используется, если он не понял неавтонимно выражения «2» или выражения « $1 + 1$ », а также не понял выражения « \Rightarrow ». В явном виде Витгенштейн не указывал на то, что, например, « $2 = 1 + 1$ » может использоваться каждым из этих трёх совершенно разных способов. Однако он говорил вещи, которые, на мой взгляд, предполагают убеждение, что в арифметике данное выражение используется *только* первым образом. Например, в (II) он говорит: «Объяснить значение знака означает лишь заменить один знак на другой». Или затем снова: «Объяснение пропозиции всегда имеет тот же вид, что и определение, то есть замена одного символа другим». Делая эти заявления, Витгенштейн, на мой взгляд, смешивал истинную пропозицию о том, что вы только тогда в состоянии объяснить значение одного знака, когда *используете* другие знаки, с пропозицией, представляющейся мне явно ложной. А именно с пропозицией о том, что, объясняя значение одного знака *использованием* другого знака, вы утверждаете только то, что эти два знака имеют одно и то же значение или могут заменяться один другим. Кажется, он действительно утверждал, что пропозиции, имевшие вид (2), являются лишь пропозициями вида (1). Вероятно, именно этой ошибкой и объясняется то неожиданное заявление, которое Витгенштейн сделал в (III), сказав, что Рассел ошибся, полагая, будто « \Leftarrow Def.» имеет значение, отличное от значения « \Rightarrow ». Мне кажется очевидным, что высказывание только тогда допустимо называть «определением» или «объяснением» значения знака, если для понимания того, какое высказывание делается с помощью употребляемых вами слов, слушателю или читателю необходимо понимать *определяющее*, а не просто рассматривать его как имя самого себя. Например, когда в *Principia Mathematica* значение символа « \supset » определяется через указание на то, что « $p \supset q$ » будет означать « $\sim p \vee q$ », совершенно очевидно, что никто не в состоянии понять, какое делается высказывание относительно будущего использования « \supset », если он не понимает выражения « $\sim p \vee q$ » и рассматривает его лишь как имя самого себя.

Следовательно, данное высказывание не является лишь высказыванием вида (1), что говорило бы о том, что два разных выражения « $p \supset q$ » и « $\sim p \vee q$ » имеют одно и то же значение или могут быть заменены одно другим. Это высказывание вида (2), а значит *определяющее* « $\sim p \vee q$ » не используется в нём автономно, хотя *определяемое* « \supset » действительно используется автономно.

Но самая серьезная трудность при понимании того, что Витгенштейн имел в виду, утверждая, что, например, « $3 + 3 = 6$ » «говорит только о символике», возникает, на мой взгляд, в связи с вопросом, к которому он обращается лишь бегло в конце (I). И этот вопрос Витгенштейн рассматривает таким способом, который я не понимаю до конца. Вот этот вопрос. О *каких* символах, на его взгляд, говорит « $3 + 3 = 6$ »? В (III) он действительно заявил, что пропозиция «красный это первичный цвет» является пропозицией о слове «красный»; и, если бы он так считал всерьёз, он мог бы, схожим образом, полагать, что пропозиция или правило « $3 + 3 = 6$ » является лишь пропозицией об отдельных выражениях « $3 + 3$ » и «6». Но он бы не мог всерьёз придерживаться ни одного из этих двух взглядов, поскольку *ту же самую* пропозицию, которая выражена словами «красный это первичный цвет», можно выразить по-французски или по-немецки в словах, ничего не говорящих об (английском) слове «красный». И, аналогично, *то же самое* правило или пропозиция, выраженная посредством « $3 + 3 = 6$ », несомненно, выразимы в аттическом диалекте древнегреческого языка и на латыни словами, ничего не говорящими об арабских цифрах «3» и «6». И в конце (I), во фрагменте, к которому я обращаюсь, Витгенштейн, кажется, признаёт данное обстоятельство. Этот пассаж, предваряемый сообщением о том, что сейчас он ответит на возражения против взгляда, согласно которому арифметическое исчисление «является игрой» (этого взгляда он придерживался), Витгенштейн начинает, заявив, довольно категорично, что оно *не* является игрой «с чернилами и бумагой». Возможно, под этим он подразумевает (правда, я не знаю точно), что оно не является игрой с арабскими цифрами. Затем он говорит, что Фреге из того факта, что математика не является игрой «с чернилами и бумагой», заключил, что она имеет дело не с символами, а с тем, «что символизируется» — с этим взглядом Витгенштейн, очевидно, не согласен. И далее Витгенштейн выражает свой собственный, альтернативный взгляд: «Для правил существенным является логическая множественность, которая является общей для всех этих разных возможных символов». И здесь, говоря о «всех этих разных возможных символах» он, на мой взгляд, допускает (что является очевидным), что *одни и те же* правила, выраженные с использованием арабских цифр,

могут быть выражены множеством различных символов. Но если правила «говорят только о символике», тогда как два правила, говорящие о *различных* символах, например о «З» и «Ш», вообще могут быть *одним и тем же* правилом? Должно быть, Витгенштейн считал, что мы используем выражение «одно и то же» в таком смысле, что два правила, которые, очевидно, *не являются* одинаковыми, поскольку говорят о разных символах, всё же называются одинаковыми, если правила их использования имеют одну и ту же «логическую множественность» (что бы это не означало). Но, как мне кажется, он никогда (по крайней мере, в моём присутствии) не возвращался к этому вопросу и не пытался объяснить и защитить свой взгляд.

Тем не менее, в данном фрагменте он действительно сравнил правила арифметики с правилами игры в шахматы, и применительно к шахматам употребил фразу: «Что является характерной чертой шахмат, так это логическая множественность их правил». Точно также, но применительно к математике он употребил фразу: «Для её правил существенным является логическая множественность, которая для всех этих разных возможных символов является общей». Тем не менее, у меня есть сомнения относительно того, был ли он прав в том, что подразумевал своими словами «*Что является характерной чертой шахмат, так это логическая множественность их правил*» — словами, которые, разумеется, предполагают, что этого достаточно для характеристики шахмат. Безусловно, он был прав, утверждая, что материал и форма, которую обычно придают различным шахматным фигурам, несущественны для шахмат: конечно, в шахматы можно играть фигурами любого материала и любой формы, например фигурами из бумаги, которые все имеют одну и ту же форму. Но если под «правилами шахмат» Витгенштейн подразумевал (а я считаю, что он, вероятно, подразумевал) правила, определяющие ходы, которые можно делать фигурами разных типов, например пешками и слонами, а также полагал, что «логической множественности» правил, определяющих возможные ходы пешки и слона, достаточно, чтобы различать пешку и слона, тогда, на мой взгляд, он был неправ. Правило, что пешка способна делать лишь определённые ходы, на мой взгляд, совсем не означает, что какая-либо фигура, правила ходов которой имеют определённую «логическую множественность» (что бы это не могло означать), может делать только данные ходы — даже если Витгенштейн был прав, полагая, что правила ходов пешек имеют иную «логическую множественность», чем правила ходов слонов. И то же самое имеет место в случае всех других разных видов фигур. Хотя очевидно, что своей формой пешка необязательно отличается (как это обычно бывает) от слона или коня,

мне представляется, что она обязательно отличается позициями, которые может занимать в начале игры. Так что правило, определяющее, что пешки способны делать только такие-то и такие-то ходы, определяет следующее: фигуры, занимающие определённые позиции в начале игры, способны делать только такие-то и такие-то ходы. И так же обстоит дело со всеми другими различными фигурами: все они обязательно отличаются друг от друга позициями, занимаемыми в начале игры. «Обязательно» означает здесь, что если бы фигуры, которые ходят по-разному, не занимали определённых позиций относительно друг друга в начале игры, то ваша игра не была бы шахматами. Конечно, если бы вы играли в шахматы бумажными фигурами одной и той же формы, было бы необходимо, чтобы фигуры имели некоторые метки, показывающие позиции, занимаемые ими в начале игры. Для этого можно, например, написать «пешка» на фигурах, занимавших определённые позиции, и, например, «слон» на фигурах, занимавших другие позиции. И было бы также необходимо отличать по некоторой метке (что обычно делается с помощью различных цветов) фигуры одного из двух игроков от фигур другого, что можно было бы легко сделать, например, написав «0» на всех фигурах, принадлежащих одному игроку, и «+» на всех фигурах, принадлежащих другому. Поэтому я считаю, что Витгенштейн мог ошибаться, полагая (а он, несомненно, так полагал), что с точки зрения своего отношения к «логической множественности» правила шахмат совершенно аналогичны тому, чем являются, по его убеждению, правила арифметики.

Остаётся ещё один вопрос, о котором следует упомянуть при рассмотрении взглядов Витгенштейна на необходимые пропозиции. Он часто использует (особенно в (II), при обсуждении правил дедукции) выражение «внутреннее отношение», а в одном месте даже утверждает: «Внутреннее отношение является тем, что оправдывает вывод». Рассмотрение, в котором он делает данное утверждение, Витгенштейн начинает со слов о том, что «следование» называют «отношением», как если бы оно было похоже на «отцовство». Однако, заявляет он, там, где, к примеру, говорят, что пропозиция вида « $p \vee q$ » следует из соответствующей пропозиции вида « $p \cdot q$ », так называемое «отношение» «полностью определяется двумя рассматриваемыми пропозициями», и поэтому это так называемое «отношение» «совершенно отлично от других отношений». Но вскоре становится ясно, что делая данное утверждение о следовании, Витгенштейн говорит только об одном из приемлемых в (английском) языке способов использования слова «следовать» [follow] — о следовании между двумя пропозициями, о том способе употребления данного выражения, который иногда

передают словами «логически следует». Фактически он постоянно употребляет слово «вывод» [inference], как если бы оно означало то же самое, что «дедуктивный вывод». То, что сказанное Витгенштейном о «следовании» касается лишь «логического следования», становится ясным из того, что он сразу же переходит к следующему утверждению: тот вид «следования», о котором он говорит и который иллюстрирует смыслом, в котором любая пропозиция вида « $p \vee q$ » следует из соответствующей пропозиции вида « $p \cdot q$ », «совершенно отличен» от того, что мы имеем в виду, когда говорим, например, что проволока определённого диаметра и сделанная из определённого материала, *не может* выдержать железный груз определённого веса. Это последнее высказывание он действительно произнёс — в полном соответствии с (английским) словоупотреблением — в своей следующей лекции: «То, что проволока порвётся, если вы попытаетесь повесить на ней этот железный груз, *следует* из веса железного груза, а также материала и диаметра проволоки». Продолжая выражать различие между двумя этими способами употребления слова «следует», он заявляет, что в случае с проволокой и железным грузом (а) «остаётся *мыслимым*, что проволока не порвётся», и (б) что, «исходя из веса железного груза, материала и диаметра проволоки *исключительно*, я не могу знать, что проволока порвётся». Тогда как в случае с пропозицией вида « $p \vee q$ » и соответствующей пропозицией вида « $p \cdot q$ » «следование» является «внутренним отношением», что означает, «грубо говоря», «что отсутствие между терминами данного отношения *немыслимо*». И непосредственно вслед за этим он сказал, что *общей* пропозиции « $p \vee q$ следует из $p \cdot q$ » «не требуется». Что «если вы не можете увидеть», глядя на две пропозиции этих видов, что одна следует из другой, то «общая пропозиция вам не поможет». Что при разговоре о том, что пропозиция вида « $p \vee q$ » следует из соответствующей пропозиции вида « $p \cdot q$ », всё бесполезно, «кроме двух этих пропозиций самих по себе». И что если для оправдания нашего высказывания о том, что первое следует из второго, потребовалась бы другая пропозиция, то «нам бы понадобился бесконечный ряд». Наконец, он заключает: «правило вывода» (имея в виду «дедуктивный вывод») «никогда не оправдывает вывод».

В следующей лекции, которую он начал (как это часто делал) с повторения основных моментов, отмеченных в конце предыдущей лекции (иногда повторение проходило в несколько изменённой форме, с дополнительными объяснениями и уточнениями, если это было необходимо), он заявил, что сказать об одной пропозиции « q », что она следует из другой пропозиции « p », означает, «как *кажется*, сказать, что

между ними имеется отношение, оправдывающее переход от одного к другому». Но «к этому заставляет относиться с недоверием то, что мы воспринимаем данное отношение исключительно посредством рассмотрения соответствующих пропозиций — что оно является „внутренним“ и не похоже на пропозицию о том, что „Эта проволока порвётся“ следует из веса железа, а также материала и диаметра проволоки». Здесь он сразу добавляет, что выражение «внутреннее отношение» вводит в заблуждение, и он использует его «лишь потому, что другие его употребляли»; и далее он приводит несколько отличную формулировку того способа, которым данное выражение употреблялось, а именно: «Отношение, которое имеет место, если термины таковы, какие они есть, и которое поэтому нельзя представить как не имеющее места». Немного позже Витгенштейн также дополнительно объясняет смысл следующего утверждения, сделанного им ранее: нам понадобился бы бесконечный ряд, если бы для оправдания высказывания о том, что одна пропозиция [логически] следует из другой, было бы необходимо правило. По его словам, если бы для оправдания выведения q из p было бы необходимо правило r , тогда q следовало бы из конъюнкции p и r , и нам понадобилось бы новое правило, чтобы оправдать выведение q из этой конъюнкции, и так *ad infinitum*. Поэтому он говорит, что «вывод может оправдываться только тем, что мы видим», и добавляет, что «это остаётся в силе везде в математике». Затем он приводит свою запись таблиц истинности для « $p \vee q$ » и « $p \cdot q$ » и говорит, что «критерием» для высказывания о следовании первого из второго является то, что «каждому Т во втором соответствует Т в первом». По его словам, тем самым он сформулировал «правило вывода», при этом данное правило является лишь «правилом грамматики» и «говорит только о символике». Чуть позже он заявляет, что отношение «следования» может быть «представлено» «тавтологиями» (в его специальном смысле), но тавтология « $(p \cdot q) \supset (p \vee q)$ » не *говорит*, что $p \vee q$ следует из $p \cdot q$, поскольку она ничего не говорит, однако тот факт, что это — тавтология, *показывает*, что $p \vee q$ следует из $p \cdot q$. А ещё немного позже он утверждает, что отношение следования «можно увидеть, глядя на *знаки*», и, как кажется, отождествляет это со словами о том, что оно является «внутренним». И то, что здесь Витгенштейн говорит о возможности увидеть данное отношение, глядя на *знаки*, хотя перед этим утверждал, что его можно увидеть, глядя на *пропозиции*, показывает, на мой взгляд, что он отождествляет «предложения» [sentences] с «пропозициями» [propositions]. Я уже замечал (стр. 11), что это, по-видимому, часто имеет место. Наконец, объясняя своё убеждение в обманчивости выражения «внутреннее отношение», он вводит новый оборот, заявив, что внутренние и внешние

отношения «категориально» различны. Позже в (III) он использует выражение «принадлежат разным категориям», когда говорит о том, что «следует» и «имплицитует» (это слово Витгенштейн использует здесь в смысле Рассела — как если бы он имел в виду то же самое, что означает символ « \supset » из *Principia*) «принадлежат к разным категориям». И добавляет важное замечание: «следует» ли одна пропозиция из другой, «вообще не может зависеть от их истинности или ложности», а зависит это только от «внутреннего *или грамматического* отношения».

III

(В) Что касается логики, то здесь имеется два важнейших момента, в отношении которых Витгенштейн назвал свои взгляды эпохи *Трактата* совершенно неверными.

(1) Первый касается того, что Рассел называл «атомарными» пропозициями, а сам Витгенштейн в *Трактате* назвал «Elementarsätze». В (II) Витгенштейн говорит, что в наибольшей мере ему пришлось поменять свои взгляды именно в связи с «элементарными» пропозициями и их связью с истинностными функциями или «молекулярными» пропозициями, и что данный вопрос связан с употреблением слов «вещь» и «имя». В (III) Витгенштейн начал с указания на то, что ни Рассел, ни он сам не представили ни одного примера «атомарных» пропозиций, а данное обстоятельство, по его словам, указывает на то, что здесь что-то не так, хотя трудно сказать, что именно. По словам Витгенштейна, и он сам, и Рассел считали, что неатомарные пропозиции можно «разлагать» на атомарные, просто мы ещё не знаем, чем является такое разложение: так, например, если бы нам было известно строение пропозиции «Идёт дождь», эта пропозиция могла бы оказаться молекулярной — к примеру, образованной конъюнкцией «атомарных» пропозиций. Витгенштейн заявляет, что в *Трактате* он высказался против допущения Рассела о несомненном существовании атомарных пропозиций, утверждающих двухместные отношения. По его словам, он отказался заниматься предсказаниями относительно возможного результата разложения, будь оно проведено, и что может так оказаться, что ни одна атомарная пропозиция не утверждает отношения, меньшего, чем, например, четырёхместное, что означало бы, что мы не в состоянии говорить даже о двухместном отношении. Согласно новой позиции Витгенштейна, говорить о «последнем» разложении бессмысленно. Он заявил также, что теперь будет рассматривать в качестве атомарных все пропозиции, в выражении которых не встречаются слова «и», «или», «неверно, что» или какое-либо обозначение всеобщности. Исключения составляют лишь те случаи, когда мы в явном виде даём точное определение — такое, например, какое мы могли бы дать в отношении высказывания «Погода — мерзкая», если бы сообщили, что будем использовать выражение «мерзкая», подразумевая «холодная и сырая».

Мне показалось, что говоря это, Витгенштейн упускает из виду два обстоятельства. Во-первых, люди часто заявляют, что будут использовать некое выражение некоторым определённым образом, но затем не используют его так. Во-вторых, многие обычные слова, например: «отец», «мать», «сестра», «брат» и так далее, часто употребляются таким образом, что предложение типа «Это мой отец»

определённо выражает молекулярную пропозицию. При этом человек, который таким образом использует слово, может никогда прямо не заявлять, что будет его так использовать. Однако эти два обстоятельства, разумеется, не доказывают, что Витгенштейн был не прав, считая бессмысленным разговор о «последнем» или «окончательном» разложении.

(2) Вторая значительная ошибка, касающаяся логики, допущенная, по словам Витгенштейна, во время написания *Трактата*, отмечается им в (III) в связи с темой «следования» или перехода от «общей» пропозиции к частному случаю и от частного случая к «общей» пропозиции. Под следованием он понимал, как это обычно делается, *дедуктивное* следование [deductive following] или «условную связь» [entailment] — именно это выражение, как я считаю, он действительно употреблял, обсуждая данный вопрос. Используя обозначения из *Principia Mathematica*, он попросил нас рассмотреть две пропозиции « $(x) \cdot fx$ влечёт fa » и « fa влечёт $(\exists x) \cdot fx$ ». По его словам, здесь появляется искушение, которому он поддался в *Трактате*, сказать, что $(x) \cdot fx$ совпадает с логическим произведением « $fa \cdot fb \cdot fc \dots$ », а $(\exists x) \cdot fx$ совпадает с логической суммой « $fa \vee fb \vee fc \dots$ »; однако в обоих случаях это будет ошибкой. Чтобы указать, в чём именно состоит ошибка, Витгенштейн сначала заявляет, что относительно таких общих пропозиций, как «У каждого в этой комнате есть шляпа» (я обозначу данную пропозицию как «А»), он уже тогда знал следующее (и, по его словам, действительно утверждал подобное в *Трактате*): даже если Смит, Джонс и Робинсон — единственные люди в комнате, логическое произведение «У Смита есть шляпа, у Джонса есть шляпа и у Робинсона есть шляпа» никак не может быть тождественным А. Поскольку для получения пропозиции, из которой следует А, вам необходимо добавить: «а Смит, Джонс и Робинсон — единственные люди, находящиеся в комнате». Но далее Витгенштейн говорит, что в отношении «индивидуумов» в расселовском смысле (и он действительно упоминает здесь атомы, а также цвета, как если бы они были «индивидуумами» в этом смысле) дело обстоит иначе, поскольку в этом случае отсутствует пропозиция, аналогичная пропозиции «Смит, Джонс и Робинсон — единственные люди, находящиеся в комнате». Согласно его утверждению, в случае с «индивидуумами» рассматриваемый класс вещей определяется не пропозицией, а нашим «словарём»: он «определён грамматикой». Например, Витгенштейн заявляет, что класс «первичный цвет» «определён грамматикой», а не пропозицией. Что нет такой пропозиции, как «Красный — первичный цвет». А такая пропозиция, как «В этом квадрате — один из первичных

цветов» на самом деле тождественна логической сумме «В этом квадрате — или красный, или зелёный, или синий, или жёлтый цвет». Тогда как в случае со Смитом, Джонсом и Робинсоном имеется такая пропозиция, как «Смит находится в комнате», а значит и такая пропозиция, как «Смит, Джонс и Робинсон — единственные люди, находящиеся в комнате». Далее Витгенштейн характеризует как большую ошибку, совершённую им в *Трактате*, своё тогдашнее убеждение в том, что в случае со *всеми* классами, «определёнными грамматикой», общие пропозиции тождественны или логическим произведениям, или логическим суммам (имеются в виду логические произведения или суммы пропозиций, являющихся значениями fx), — так же, как они тождественны, согласно его утверждению, в случае с классом «первичных цветов». По его словам, во время работы над *Трактатом* он полагал, что *все* подобные общие пропозиции являются «истинностными функциями», однако теперь он считает, что ошибался. И такая ошибка, по его словам, распространена в математике: её совершают, например, когда полагают, что $1 + 1 + 1 \dots$ это сумма, тогда как это только *предел*, или что $\frac{dx}{dy}$ это частное, тогда как это тоже лишь *предел*. Как говорит Витгенштейн, его ввело в заблуждение то обстоятельство, что $(x) \cdot fx$ можно заменить на $fa \cdot fb \cdot fc \dots$, и он не увидел того, что последнее выражение не всегда является логическим произведением. Что это только тогда логическое произведение, когда точки являются тем, что он назвал «точками лени» (ими мы пользуемся, например, представляя алфавит в виде «А, В, С ...»), то есть тогда, когда целое выражение можно заменить перечислением. Однако там, где точки не являются «точками лени», например, там, где мы представляем кардинальные числа посредством 1, 2, 3 ..., это уже не логическое произведение, а целое выражение нельзя заменить перечислением. Как заметил Витгенштейн, во время написания *Трактата* он стал бы защищать этот ошибочный взгляд, которого затем придерживался, задавая вопрос: «Как вообще $(x) \cdot fx$ может влечь за собой fa , если $(x) \cdot fx$ не является логическим произведением? По его словам, ответ на этот вопрос состоит в следующем: там где $(x) \cdot fx$ не является логическим произведением, пропозиция « $(x) \cdot fx$ влечет за собой fa » «рассматривается как первичная пропозиция», а там, где это является логическим произведением, данная пропозиция выводится из других первичных пропозиций.

Соображение, которое Витгенштейн здесь высказывает, утверждая, что в случае с кардинальными числами речь не идёт о логическом произведении, он уже высказывал ранее. А именно в (I), хотя там он не указывал на то, что в *Трактате* он совершил

ошибку, полагая, будто бесконечная последовательность является логическим произведением — что её члены *можно* перечислить, хотя мы и не способны на такое перечисление. В данном фрагменте из (I) он начинает со слов о том, что под пропозицией «Имеется бесконечное количество оттенков серого между чёрным и белым» мы «подразумеваем нечто совсем иное», чем то, что имеем в виду, когда говорим, к примеру, «Я вижу в этой комнате три цвета». Поскольку, хотя вторую пропозицию можно проверить подсчётом, первую нельзя. По его словам, «Имеется бесконечное количество» не даёт ответа на вопрос «Сколько их?», тогда как «Их три» отвечает на данный вопрос. Далее он обсуждает бесконечную делимость пространства и утверждает (об этом я уже упоминал на стр. 296), что «лингвистическим выражением» пропозиции «Эту линию можно разделить пополам» является предложение «Слова „Эта линия разделена пополам“ имеют смысл», однако предложение «Слова „Эта линия делима до бесконечности“ имеют смысл» явно не является «лингвистическим выражением» пропозиции «Эта линия делима до бесконечности». Он говорит, что, выражая «разделена пополам», «разделена на три равные части», «разделена на четыре равные части» и т.д. посредством $f(1 + 1)$, $f(1 + 1 + 1)$, $f(1 + 1 + 1 + 1)$ и т.д., мы видим, что между членами последовательности имеет место внутреннее отношение и что данная последовательность не имеет конца. И заключает, что «лингвистическим выражением» бесконечной возможности является бесконечная возможность в языке. Витгенштейн также указывает на то, что $\sum 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \dots$ стремится к пределу, тогда как логическое произведение не стремится ни к какому пределу. И, наконец, он говорит, что случаи, к которым относятся символы $(x) . \phi x$ и $(\exists x)$ из *Principia*, при которых первое может рассматриваться как логическое произведение, а второе — как логическая сумма пропозиций вида ϕa , ϕb , ϕc и т.д., относительно редки. Чаще мы имеем дело с такими пропозициями, как «Я встретил человека», которые не «предполагают никакой совокупности». Он также говорит, что данные символы из *Principia* применимы только к таким случаям, когда мы можем давать рассматриваемым сущностям собственные имена; а давать собственные имена возможно только в совершенно особых случаях.

Помимо этих двух важнейших вопросов, в связи с которыми Витгенштейн говорит о явной ошибочности своих взглядов эпохи работы над *Трактатом*, его главными соображениями по поводу логики, как мне кажется, были следующие:

(3) Согласно одному из них, Рассел был совершенно неправ, полагая, будто из использования выражений вида « $p \supset q$ » со значением, приданным « \supset » в *Principia*

Mathematica, следует, что из ложной пропозиции мы можем получить как следствие любую другую пропозицию, а из истинной пропозиции мы можем получить как следствие любую другую истинную пропозицию. Как говорит Витгенштейн, это ошибочное мнение Рассела частично объясняется тем, что тот считал возможным переводить « $p \supset q$ » посредством «Если p , то q ». Согласно Витгенштейну, мы никогда не употребляем «Если p , то q », имея в виду только то, обозначается посредством « $p \supset q$ ». Он также говорит, что Рассел признал это, но продолжал утверждать, что в случае с тем, что он называет «формальными импликациями», то есть пропозициями вида $(x) \cdot \phi x \supset \psi x$, подобная пропозиция может быть корректно переведена посредством «Если ..., то ...». По словам Витгенштейна, это тоже ошибка. Он приводит следующий довод. Если мы, к примеру, заменим «является человеком» на ϕ , а «является смертным» на ψ , тогда сам по себе факт, что не существует ни одного человека, будет подтверждать истинность $(x) \cdot \phi x \supset \psi x$. Однако мы никогда не используем «Если ..., то ...» так, что сам по себе факт, что не существует ни одного человека, подтверждал бы истинность высказывания «Если нечто есть человек, то это является смертным».

(4) Он также по нескольким поводам говорит о «штрихе» Шеффера и по одному поводу о «трёхзначной» логике Тарского.

В отношении первого Витгенштейн сказал, что «штрих» напоминает о том, что называют математическими «открытиями» — в том смысле, что Шеффер не располагал правилом поиска ответа на вопрос «Существует ли только одна логическая константа?», тогда как, например, для задачи на умножение имеется правило нахождения ответа. По словам Витгенштейна, там, где нет правила, употребление слова «открытие» вводит в заблуждение, хотя это слово постоянно так употребляют. Он сказал, что Рассел или Фреге вполне могли бы использовать выражение « p/q » как сокращение для « $\sim p \cdot \sim q$ », и всё же утверждал, что у них имеется две первичных идеи, «и» и «не», а не одна. Поэтому ясно, что Витгенштейн, признавая, что Шеффер действительно определил « p/q » как то, что значит « $\sim p \cdot \sim q$ », всё же считал, что Шеффер сделал что-то ещё. Но что именно? Как он говорит, «открытие» Шеффера состоит в нахождении «нового аспекта» некоторых выражений. Однако я с сожалением признаю, что не понял, а сейчас не понимаю, что Витгенштейн под этим подразумевал.

О трёхзначной логике Тарского он сказал, что она вполне приемлема как «исчисление» — что Тарский на самом деле «открыл» новое исчисление. Но Витгенштейн заявил, что «истинно» и «ложно» не могут иметь в данной логике то значение, которое они на самом деле имеют. И он особо подчеркнул, что Тарский

ошибся, когда посчитал своё третье значение, которое он называл «неопределённо», тождественным тому, что мы обычно подразумеваем под «неопределённо».

(С) Из проблем, являющихся специфическими проблемами философии математики, он, как я считаю, больше всего обсуждал три проблемы, о которых сейчас пойдёт речь. Однако в данном случае я хотел бы напомнить читателю о том, о чём уже заявлял в своей первой статье (стр. 5). Я просто не в состоянии упомянуть обо всём, о чём он говорил. Также возможно, что некоторые вещи, которые я опускаю, в действительности важнее тех, что мной упомянуты. Также я хочу предупредить, что в данном конкретном случае особенно велика вероятность того, что я не понял или неверно проинтерпретировал Витгенштейна, поскольку мои собственные математические познания весьма скромны. Однако полагаю, что сказанное мной даст, по крайней мере, некое представление о том *виде* вопросов, которые он хотел обсуждать.

(1) В (I) Витгенштейн сказал, что в математике используется два совершенно разных вида пропозиций, причём «ни тот, ни другой совершенно не похож на то, что обычно называют пропозициями». Это (1) пропозиции, доказываемые с помощью цепочки уравнений, в которой вы переходите от аксиом к другим уравнениям посредством аксиом, и (2) пропозиции, доказываемые с помощью «математической индукции». И в (III) он добавляет, что доказательства второго вида (он называет их здесь «рекурсивными доказательствами») не являются доказательствами в том же самом *смысле*, что доказательства первого вида. Он также сказал, что люди постоянно впадают в заблуждение, когда считают, что «истинно», «проблема», «поиск», «доказательство» всегда означают одно и то же, тогда как на самом деле эти слова в разных случаях «означают совершенно разные вещи».

В качестве примера пропозиции второго вида Витгенштейн приводит закон ассоциативности сложения, а именно « $a + (b + c) = (a + b) + c$ »; он довольно подробно рассматривает доказательство этой пропозиции по двум отдельным поводам — сначала в (I), а затем в (II). В обоих случаях Витгенштейн обсуждает доказательство, представленное Сколемом, хотя в (I) он прямо не говорит, что рассматриваемое доказательство принадлежит Сколему. В (I) Витгенштейн заявляет, что, по-видимому, в данном доказательстве та самая пропозиция, которую собираются доказать, в какой-то момент появляется в качестве допущения, а в (III) он указывает на то, что на одном из шагов доказательства Сколем действительно исходит из закона ассоциативности как из допущения. По словам Витгенштейна, поскольку Сколем заявляет, что даёт

доказательство, от него можно было бы ожидать вывода из другой формулы, однако в действительности доказательство начинается совершенно иначе, а именно с определения — определения « $a + (b + 1) = (a + b) + 1$ ». Как в (I), так и в (III) Витгенштейн утверждает, что Сколему совсем не нужно было допускать закон ассоциативности на одном из шагов доказательства. В (I) он говорит, что данное доказательство «фактически полностью покоится на определении», а в (III), что на самом деле вам не надо использовать закон ассоциативности в доказательстве. Чтобы это показать, он записал доказательство «по-своему», сказав, что при записи определения в виде « $\phi 1 = \psi 1$ » доказываются только две формулы (a) $\phi(c + 1) = \phi c + 1$ и (b) $\psi(c + 1) = \psi c + 1$, и что доказательство этих двух формул и означает то, что называют «доказательством закона ассоциативности для всех чисел». Как он утверждает далее, то обстоятельство, что данное доказательство доказывает всё, что нам нужно, «показывает, что мы вовсе не имеем дела с расширением». По его словам, вместо того, чтобы вести речь о *конечной части* последовательности «1, 2, 3...», с одной стороны, и *всей* последовательности, с другой стороны, мы должны вести речь о небольшой части последовательности и *законе, который её порождает*. Что доказывание закона ассоциативности «для всех чисел» не может означать то же самое, что доказывание его, например, для трёх чисел, поскольку для того, чтобы сделать это последнее, вам пришлось бы привести отдельное доказательство для каждого из трёх чисел. И что то, что мы имеем в доказательстве, является *общей формой* доказательства для *любого* числа. Наконец, он говорит, что всеобщность, обманчиво выраженная в словах о том, что мы доказали закон ассоциативности для «*всех кардинальных чисел*», на самом деле присутствует в определении; что это можно было бы записать в виде последовательности, то есть « $1 + (1 + 1) = (1 + 1) + 1$ » « $1 + (2 + 1) = (1 + 2) + 1$ » « $2 + (1 + 1) = (2 + 1) + 1$ » и так далее; и что данная последовательность не есть логическое произведение, частью которого являются приведённые примеры, но *правило*, и что «данные примеры здесь только для того, чтобы объяснить это правило».

(2) Ещё одна проблема философии математики, которую Витгенштейн рассматривал по отдельным поводам не менее трёх раз — что следует сказать, отвечая на очевидный вопрос «Имеется ли где-нибудь при разложении числа π три последовательных цифры 7?» Иногда вместо вопроса «Есть ли три?» он выбирает вопрос «Есть ли где-нибудь *пять* последовательных цифр 7?». Сначала он рассматривает этот очевидный вопрос в (I) — в связи с позицией Брауэра, считавшего, что закон исключённого третьего неприменим к некоторым математическим

пропозициям; то есть, что некоторые математические пропозиции ни истинны, ни ложны; что имеется альтернатива, а именно, быть «недоказуемым». И в данной связи Витгенштейн утверждает, что слова «Имеется три последовательные цифры 7 при разложении числа π » являются бессмыслицей, и что поэтому не только закон исключённого третьего неприменим в данном случае, здесь неприменим ни один из законов логики. Впрочем, Витгенштейн допускал, что если кто-нибудь, разлагая π на протяжении 10 лет, на самом деле нашёл бы три следующие друг за другом 7-ки, это бы доказывало, что имеются три последовательные цифры 7 в десятилетнем разложении, и поэтому, кажется, допускал вероятность того, что это возможно. Вернувшись к обсуждению данного вопроса в начале (III), Витгенштейн заявляет, что если кто-нибудь на самом деле нашёл бы три последовательных 7-ки, это доказывало бы, что имеются три следующих друг за другом цифры 7, но что если бы никто их не нашёл, это не доказывало бы, что их нет. Что, следовательно, это есть нечто, для истинности чего мы предоставили проверку, но для ложности не предоставили. И поэтому это совершенно отличается от случаев, при которых проверка обеспечивается как для истинности, так и для ложности. Далее он рассматривает данный очевидный вопрос немного иначе. По его словам, мы, по-видимому, можем определить π' как число, которое, если имеется три последовательных 7-ки в разложении числа π , отличается от π тем, что на том месте, где в числе π встречаются три следующие друг за другом 7-ки, здесь встречаются три последовательные цифры 1, но которое, если трёх последовательных 7-к в π нет, совсем не отличается от π ; по-видимому, можем также сказать, что π' , определённое таким образом, или тождественно π или нет. Однако здесь он утверждает следующее: поскольку у нас нет способа узнать, тождественно ли π' числу π или нет, вопрос о том, тождественно оно или нет, «не имеет значения». Насколько я могу судить, из этого следует тот же самый взгляд, который он уже выразил в (I), а именно: слова «Не существует трёх последовательных цифр 7 где-нибудь при разложении числа π » не имеют значения, поскольку если бы эти слова имели значение, из этого, по-видимому, следовало бы, что « $\pi' = \pi$ » также имеет значение, а значит и вопрос «Является ли π' тождественным π ?» имел бы значение. Во втором фрагменте из (III), где обсуждается этот очевидный вопрос, Витгенштейн открыто заявляет, что, хотя слова (1) «Имеется пять последовательных 7-к в первой тысяче цифр числа π » имеют смысл, слова (2) «Имеется пять последовательных 7-к где-нибудь в разложении» смысла не имеют. И добавляет: «мы не можем утверждать, что (2) имеет смысл только на основании того, что (2) следует из (1)». Однако в самом начале следующей лекции

он, видимо, изменил свой взгляд на данный предмет, поскольку сказал следующее: «Мы не должны говорить „Имеется пять последовательных 7-к в разложении“ не имеет смысла», ранее заметив, что данная фраза «имеет какой угодно смысл, допускаемый её грамматикой», и подчеркнув, что «она имеет весьма странную грамматику», поскольку «она совместима с тем, что не существует пяти последовательных 7-к при любом разложении, которое вы можете представить». Если она имеет смысл, пусть «весьма странный», она, по-видимому, выражает пропозицию, к которой применимы и закон исключённого третьего, и другие законы формальной логики; однако Витгенштейн ничего не говорит по этому поводу. А говорит он, что «Все большие математические проблемы имеют ту же природу, что и вопрос „Имеется ли пять последовательных цифр 7 в разложении числа π ?“», и что «поэтому они совершенно не похожи на задачи на умножение и не сопоставимы с ними по сложности».

Витгенштейн говорил много другого по данному вопросу, однако я не могу привести всего, а некоторые вещи я, определённо, не понял и не понимаю сейчас. Однако один сложный для меня момент, о котором он, кажется, говорит в (III), заключается в следующем. Если мы выражаем пропозицию о том, что в разложении числа π имеется некое количество цифр, за которыми непосредственно идёт пять последовательных 7-к, посредством « $(\exists n) . fn$ », тогда имеется два возможных способа доказательства $(\exists n) . fn$. А именно: (1) посредством *нахождения* такого числа, и (2) посредством доказательства, что $\sim (\exists n) . fn$ является самопротиворечивым. Однако $(\exists n) . fn$, доказанное вторым способом не может быть тем же самым, что доказанное первым способом. В этой связи Витгенштейн говорит, что не существует ничего «противоположного» первому методу доказательства. Он также говорит, что « $\exists n$ » означает нечто иное там, где можно «искать» доказывающее его число, по сравнению с тем, что оно значит тогда, когда это невозможно. И, в общем, что «Доказательство теоремы о существовании задаёт значение „существования“ в данной теореме», тогда как значение фразы «В соседней комнате имеется человек» не зависит от метода доказательства.

(3) Эта последняя проблема связана (и связывалась им) с одним общим моментом, который он неоднократно рассматривал в контексте вопроса «Как мы можем искать способ деления угла на три равные части с помощью линейки и циркуля, если такого способа нет?». По словам Витгенштейна, человек, потративший всю жизнь на попытки разделить угол на три равные части с помощью линейки и циркуля, был бы склонен утверждать: «Если вы понимаете, что подразумевается под „делением на три

равные части“ и „делением на две равные части с помощью линейки и циркуля“, вы должны понимать, что подразумевается под “делением на три равные части с помощью линейки и циркуля”»; однако это ошибка. По Витгенштейну, мы не можем представить себе деление угла на три равные части с помощью линейки и циркуля, хотя способны представить деление угла на восемь равных частей с помощью линейки и циркуля. По его словам, «искать» деление на три равные части с помощью линейки и циркуля это не то же самое, что «искать» единорога; поскольку фраза «Существуют единороги» имеет смысл, хотя единорогов не существует, тогда как фраза «Существуют животные, показывающие на лбу деление угла на три равные части, построенное с помощью циркуля и линейки» это такая же бессмыслица, как фраза «Существуют животные с тремя рогами и при этом только с одним рогом»: она не даёт нам описания никакого возможного животного. И ответ Витгенштейна на первоначальный вопрос состоит в следующем. Доказательством невозможности деления угла на три равные части с помощью линейки и циркуля «мы меняем идею человека о делении угла на три равные части». Однако при этом мы вынуждены говорить, что то, невозможность чего была доказана, является той же самой вещью, которую этот человек пытался осуществить, поскольку «в данном случае мы склонны отождествлять две разные вещи». Витгенштейн сравнил этот случай со случаем, когда его занятия называют «философией», заявив, что его дело — не то же самое, что сделали Платон или Беркли. По его словам, мы можем полагать, что то, что он делает, «занимает место» того, что делали Платон и Беркли, хотя это на самом деле нечто другое. Этот же момент он проиллюстрировал примером с «построением» правильного пятиугольника, заявив, что если бы человеку, пытавшемуся найти подобное построение, доказали, что такого построения нет, то он бы сказал «Как раз это я и пытался сделать», поскольку «его идея сместилась в том направлении, в котором он готов сместить её». И здесь Витгенштейн снова настаивает на том, что (a) имеющаяся идея правильного пятиугольника и (b) знание того, что понимается под построением с помощью линейки и циркуля, например, квадрата, не составляют комбинации, позволяющей нам узнать, что понимается под построением (с помощью линейки и циркуля) правильного пятиугольника. По словам Витгенштейна, для объяснения того, что понимается под «построением», мы можем представить две последовательности «построений», а именно: (a) равностороннего треугольника, правильного шестиугольника и т.д. и (b) квадрата, правильного восьмиугольника и т.д.; однако ни одна из этих последовательностей не придаст значения «построению» правильного пятиугольника,

поскольку они не дают никакого правила, примененного к числу 5. Как он говорит, в некотором смысле требуемый результат ясен, но средства его достижения не ясны; однако в другом смысле требуемый результат сам по себе не ясен, поскольку «построенный пятиугольник» не то же самое, что «измеренный пятиугольник». И то, будут ли они одной и той же фигурой, «зависит от нашей физики»: мы называем некое построение построением правильного пятиугольника «в силу физических свойств нашего циркуля и т.д.».

В (I) Витгенштейн заявил о том, что в случае логики и математики (и «чувственных данных») вы не можете узнать одно и то же двумя независимыми способами; разные свидетельства в пользу одного и того же имеются только в «гипотезах» и *нигде больше*. Однако в (III) он утверждает, что даже в случае с гипотезами, например в случае пропозицией о том, что на камине находится цилиндрический объект, он сам предпочитает говорить, что если свидетельство другое, то и пропозиция также другая, но «вы можете говорить, что вам угодно». Он не уточнил, считал ли он тогда, что «вы можете говорить, что вам угодно» распространяется и на логику с математикой.

(D) Как я уже замечал в первой статье (стр. 5), Витгенштейн потратил много времени на обсуждение данного вопроса, и мне трудно понять смысл многого из того, что он говорил, а также связь между разными вещами, которые он утверждал. На мой взгляд, его рассмотрение было довольно непоследовательным, и мой отчет о нём также должен быть непоследовательным, поскольку я не вижу связи между различными моментами, на которые он, по-видимому, хотел обратить внимание. В самом начале обсуждения он заявил, что данная тема в целом является «чрезвычайно сложной», поскольку «данная область в целом наполнена вводящей в заблуждение символикой». И что на сложность темы указывает то обстоятельство, что рассматриваемый вопрос является пунктом разногласий между реалистами, идеалистами и солипсистами. И он также неоднократно заявлял, что многие из этих сложностей объясняются наличием большого искушения смешивать то, что является лишь опытными пропозициями, способными быть не истинными, с необходимо истинными пропозициями или такими, которые являются, как он однажды сказал, «тавтологическими или грамматическими высказываниями». В качестве примера он приводит пропозицию второго вида: «Я не могу чувствовать вашу зубную боль». И замечает, что «Если вы чувствуете её, она не моя» — это «вопрос грамматики», и что также «Я не могу чувствовать вашу зубную боль» означает то же самое, что «„Я чувствую вашу зубную боль“ не имеет смысла».

Он противопоставляет данную пропозицию высказыванию «Я слышу, как мой голос исходит из места рядом с моими глазами», которое, как он говорит, мы считаем необходимым, но которое на самом деле необходимым не является, «несмотря на то, что так всегда бывает». В этой связи он предупреждает «Не будьте предвзятыми из-за чего-то, что *является* фактом, но что *может* быть иначе». По-видимому, он был совершенно уверен в том, что и мне представляется абсолютно верным, а именно в том, что я могу видеть без физических глаз, даже не имея тела вообще. Что связь между видением и физическими глазами это лишь факт, который мы узнали из опыта, а вовсе не необходимость. Хотя он также говорит, что «поле зрения» имеет определённые внутренние свойства, такие, что вы в состоянии описать движение в нём определенных вещей как движение по направлению к «вашему глазу» или от него; но что здесь под «вашим глазом» понимается не ваш физический глаз и не что-либо, находящееся в поле зрения. Он называет «ваш глаз» в данном смысле «глазом поля зрения» и говорит, что различие между движением по направлению к нему и от него находится «на том же самом уровне», что и «различие между „искривлённым“ и „прямым“».

Тем не менее, своё обсуждение темы он начинает с вопроса, который, как он замечает, связан с бихевиоризмом, а именно: «Когда мы говорим „У него зубная боль“, правильно ли сказать, что его зубная боль является только его поведением, в то время как о своей зубной боли я не говорю как о моём поведении?». Но вскоре он предлагает вопрос, выраженный другими словами, который, возможно, не является просто иной формулировкой предыдущего вопроса, а именно: «Является ли зубная боль другого человека „зубной болью“ в том же самом смысле, что и моя?». Пытаясь ответить на этот вопрос или на эти вопросы, он сначала говорит следующее: ясно и допустимо, что то, что верифицирует высказывание «У меня зубная боль» или является его критерием, совершенно отлично от того, что верифицирует высказывание «У него зубная боль» или является его критерием. И вскоре добавляет, что поскольку это так, значения выражений «У меня зубная боль» и «У него зубная боль» должны быть различны. Позже он скажет в этой связи, что значение «верификации» различается в зависимости от того, касается ли подтверждение «У меня...» или «У него...». А затем говорит, что нет такой вещи, как «верификация» для «У меня». Поскольку вопрос «Откуда вы знаете, что у вас зубная боль?» является бессмысленным. Критикуя два ответа на последний вопрос, которые могут дать люди, не считающие этот вопрос бессмысленным, Витгенштейн говорит следующее: (1) ответ «Потому что я её чувствую» не подходит, так как «я её чувствую» значит то же самое, что «у меня она

есть», (2) ответ «Я знаю это посредством проверки» также не подходит, поскольку предполагает, что я могу «посмотреть», есть ли она у меня или нет, тогда как фраза «посмотреть, есть ли она у меня или нет» не имеет значения. По его словам, то обстоятельство, что о верификации факта моей зубной боли говорить бессмысленно, ставит «У меня она есть» на «другой уровень» в грамматике по сравнению с «У него она есть». Своё убеждение в принадлежности двух этих выражений разным грамматическим уровням, он также высказал, заявив, что они не являются значениями одной и той же пропозициональной функции «У x зубная боль». Обосновывая это убеждение, он приводит две причины, по которым можно говорить, что они не являются значениями одной пропозициональной функции. А именно: (1) «Я не знаю, есть ли у меня зубная боль» это всегда абсурд или бессмыслица, тогда как «Я не знаю, есть ли у него зубная боль» не является бессмыслицей, и (2) «Мне кажется, что у меня зубная боль» — бессмыслица, тогда как «Мне кажется, что у него она есть» не является бессмыслицей.

По его словам, эти его утверждения воспринимаются слушателями так, будто он говорит, что другие люди в действительности никогда не переживают того же, что и он, однако если бы он так говорил, он бы говорил бессмыслицу. Как кажется, он однозначно отвергает бихевиористский взгляд, согласно которому «У него зубная боль» значит только то, что «он» ведёт себя особым образом. Поскольку Витгенштейн заявляет, что «зубная боль» на самом деле не означает лишь определённый способ поведения. Также он даёт понять, что жалея человека с зубной болью, мы жалеем его не за то, что он держится рукой за щеку. Позже Витгенштейн скажет, что мы заключаем, что у другого человека зубная боль на основании его поведения, и что допустимо делать данный вывод по аналогии, исходя из сходства его поведения с нашим собственным поведением во время зубной боли. Поэтому представляется, что на первый вопрос он хотел однозначно ответить «Нет», а на второй вопрос — однозначно «Да». Словосочетание «зубная боль» используются в том же самом смысле, когда мы говорим, что её испытывает он (или «вы её испытываете»), и тогда, когда говорим, что её испытываю я, хотя Витгенштейн никогда не высказывал это в явном виде. Впрочем, некоторое сомнение относительно того, имел ли он это в виду, могут породить следующие его слова: «Я допускаю, что другие люди действительно испытывают зубную боль — это имеет значение, которое мы ему придали».

Поэтому, как кажется, Витгенштейн не думал, что различие между «У меня зубная боль» и «У него зубная боль» объясняется тем, что словосочетание «зубная

боль» имеет в этих двух предложениях разное значение. Тогда с чем это различие связано? Многое из того, что Витгенштейн утверждал, позволяет предположить, что он объяснял данное различие так. В «У него зубная боль» мы обязательно говорим о физическом теле, тогда как в «У меня зубная боль» не говорим. Что касается первой из этих двух пропозиций, то, по-видимому, слова Витгенштейна нельзя трактовать вполне однозначно. Ибо сказав вначале, что «мой голос» означает «голос, который исходит из моего рта», позже он, как кажется, даёт понять, что в высказывании «У него зубная боль» (или «У вас...») мы необязательно ссылаемся на *тело*, но можем указывать лишь на *голос*, идентифицированный как «его» или «ваш» без ссылки на тело. Однако по поводу второй пропозиции («У меня зубная боль»), он, по-видимому, хотел подчеркнуть следующее: то, что мы называем «переживанием зубной боли», он называет «первичным опытом» (однажды в качестве эквивалента Витгенштейн использовал фразу «непосредственный опыт»). И, по его словам, «„первичный опыт“ характеризуется тем», что в его случае «„Я“ не обозначает собственника». Чтобы прояснить, что он под этим подразумевает, Витгенштейн сравнивает пропозиции «У меня зубная боль» и «Я вижу красное пятно». И о том, что он называет «зрительными ощущениями» вообще и «полем зрения», в частности, он говорит, что «в его [поля зрения — прим. перев.] описание не входит идея человека [person], точно так же как [физический] глаз не входит в описание того, что видят». Аналогичным образом, по его словам, «идея человека» не входит в описание «переживания зубной боли». Как он здесь использует слово «человек»? Очевидно, он хочет сказать, что идея физического тела не входит с необходимостью в данное описание. И в одном из фрагментов Витгенштейн, по-видимому, даёт понять, что слово «человек» используется им в том же значении, что и «физическое тело», поскольку говорит следующее: «Описание ощущения не содержит описания органа чувств и *поэтому* не содержит описания человека». Это показывает, что Витгенштейн, по-видимому, продолжает считать, что различие между пропозициями «У меня зубная боль» и «У него зубная боль» связано с тем, что вторая с необходимостью отсылает к физическому телу (или, возможно, вместо него, к голосу), тогда как о первой этого сказать нельзя. Однако я полагаю, что это не единственное различие, которое он имел в виду, и что он не всегда использовал выражение «человек» для обозначения физического тела (или, возможно, вместо него, голоса). Поскольку он сказал, что «Точно так же как [физический] глаз не участвует в видении, Ego не участвует в мышлении или переживании зубной боли»; и с явным одобрением процитировал слова Лихтенберга «Вместо „Я мыслю“, мы должны

говорить „мыслится“ [it thinks]» (как он отметил, «it» здесь используется также, как «Es» в «Es blitzet»). И, как мне кажется, утверждая это, Витгенштейн имеет в виду нечто похожее на сказанное им о «глазе поля зрения» — что тот не является чем-то, находящимся в поле зрения. Как и многие другие философы, рассуждая о «зрительных ощущениях», Витгенштейн, по-видимому, не проводит различия между «тем, что я вижу» и «моим видением этого». И в явном виде он не рассматривал имеющейся здесь возможности, которую можно выразить следующим образом: хотя «человек» и не входит в то, что я вижу, всё же некий «человек», отличный от физического тела или голоса, может «входить в» моё видение того, что я вижу.

В связи с тем, что в выражении «У меня зубная боль» «Я» не «обозначает собственника», Витгенштейн замечает: когда я говорю о «*моём* теле», тот факт, что рассматриваемое тело является «моим» или «принадлежит мне», не может быть верифицирован ссылкой на само это тело. По-видимому, он имеет в виду следующее. Когда я говорю «Это тело принадлежит мне», «мне» используется во втором из смыслов «я», которые Витгенштейн различил, а именно в том, согласно которому, по его словам, оно «не обозначает собственника». Однако представляется, что Витгенштейн не был до конца в этом убеждён, поскольку в одном месте он говорит «Если имеется собственность, такая, что я обладаю телом, это не верифицируется ссылкой на тело», то есть выражение «Это моё тело» никак не может означать «Это тело принадлежит этому телу». По его словам, там, где «я» заменяется «моим телом», «я» и «он» находятся «на одном и том же [грамматическом] уровне». Витгенштейн был убеждён, что слово «я» (или «любое другое слово, обозначающее субъект») употребляется «двумя совершенно разными способами», в одном из которых «я» — «на уровне с другими людьми», а в другом нет. Это различие, по его словам, является различием в «грамматике нашего обыденного языка». В качестве примера одного из этих двух употреблений он приводит выражения «У меня спичечный коробок» и «У меня больной зуб», которые, как он заявляет, находятся «на уровне» с выражениями «У Скиннера спичечный коробок» и «У Скиннера больной зуб». Как он утверждает, в этих двух случаях «У меня...» и «У Скиннера...» действительно являются значениями одной и той же пропозициональной функции, а «я» и «Скиннер» оба являются «собственниками». Но в случае с «У меня зубная боль» или «Я вижу красное пятно» слово «я», как он полагает, употребляется совершенно иначе.

Рассуждая об этих двух смыслах «я», он заявляет (назвав это «итогом»), что «В одном смысле „я“ и „сознательное“ эквивалентны, но в другом — нет», и сравнивает

данное различие с различием между тем, что можно сказать об изображениях на плёнке в проекционном аппарате и изображении на экране. По его словам, все изображения в проекционном аппарате — «на одном и том же уровне», тогда как изображение, появляющееся в какой-то определённый момент на экране, не находится «на одном и том же уровне» ни с одним из них. И если бы мы употребили слово «сознательный», чтобы сказать об одном из изображений, что оно в данный момент проецируется на экран, было бы бессмысленно называть «сознательным» изображение на экране. Как он выражается, изображения на плёнке «имеют соседей», тогда как изображение на экране не имеет. И он также сравнивает грамматическое различие между двумя разными употреблениями «я» с различием между значением выражения «имеет расплывчатые границы» применительно к полю зрения и значением того же самого выражения применительно к любому рисунку, на котором вы можете изобразить это поле зрения. По его словам, можно представить, что ваш рисунок имеет чёткие, а не расплывчатые границы, но это непредставимо в случае с полем зрения. Поле зрения, говорит он, не имеет очертания или границы, что приравнивается им к выражению: «Не имеет смысла говорить, что оно имеет очертание».

В связи с высказыванием о том, что в одном из употреблений «я» эквивалентно «сознательному», Витгенштейн упомянул об использовании Фрейдом терминов «сознательное» и «бессознательное». По его словам, Фрейд действительно открыл неизвестные ранее феномены и связи. Однако Фрейд выражается так, будто обнаружил существование в человеческом разуме «бессознательных» ненависти, желаний и т.д. А это вводит в заблуждение, поскольку о различии между «сознательной» и «бессознательной» ненавистью мы думаем по аналогии с различием между «видимым» и «невидимым» стулом. По утверждению Витгенштейна, грамматика «ощущаемой» и «неощущаемой» ненависти на самом деле совершенно отлична от грамматики «видимого» и «невидимого» стула — так же как грамматика «искусственного» цветка отлична от грамматики «синего» цветка. Если выражение «бессознательное» использовать так, как оно используется у Фрейда, предполагает он, «бессознательная зубная боль» может с необходимостью соотноситься с физическим телом, тогда как «сознательная зубная боль» не соотносится с телом с необходимостью.

По поводу солипсизма и идеализма Витгенштейн заявил, что он сам часто испытывал искушение сказать «Всё реальное является опытом настоящего момента» или «Всё определённое является опытом настоящего момента». И что любому, кого привлекает идеализм или солипсизм, знаком соблазн объявить, что «Единственной

реальностью является настоящий опыт» или «Единственной реальностью является *мой* настоящий опыт». О двух этих последних высказываниях Витгенштейн сказал, что они одинаково абсурдны, но, несмотря на их ошибочность, «выраженная в них идея — идея огромной важности». О солипсизме и идеализме он ранее утверждал, что ни тот, ни другой не претендует на выводимость из опыта. Что аргументы в пользу обоих имеют вид «вам нельзя» или «вы должны», и что оба эти выражения «исключают [рассматриваемое высказывание] из нашего языка». Где-то в другом месте он заметил, что солипсисты и идеалисты говорят, что они «не могут представить, что это обстоит иначе», а он в ответ сказал бы: «Если так, тогда ваше высказывание не имеет смысла», поскольку «ничто не может характеризовать реальность другим способом, нежели чем через противоположность чему-то ещё, что не имеет места». А ещё в одном месте он заявил, что высказывание солипсиста «Только мой опыт реален» абсурдно «в качестве констатации факта», но солипсист считает, что человек, говорящий «Нет. Мой опыт также реален» на самом деле не опровергает его, как не опроверг Беркли доктор Джонсон, когда пнул камень. Намного позже Витгенштейн заявил, что солипсизм прав, если просто говорит: «У меня зубная боль» и «У него зубная боль» находятся на «совершенно разных уровнях». Но «если солипсист говорит, что имеет что-то, чего у другого нет, он говорит нелепость и совершает ошибку, помещая эти два высказывания на один и тот же уровень». В этой связи Витгенштейн заявляет, что считает реалиста и идеалиста «говорящими бессмыслицу» в том особом смысле, в котором «бессмыслица создаётся при попытке выразить с помощью языка то, что должно быть заключено в грамматике». И иллюстрирует этот смысл, сказав, что фраза «Я не могу чувствовать его зубную боль» означает «„Я чувствую его зубную боль“ не имеет смысла» и поэтому не «выражает факта», как может его выражать фраза «Я не умею играть в шахматы».

(Е) Витгенштейн завершает (III) продолжительным обсуждением, начинающимся следующими словами: «Я всегда хотел высказаться о грамматике этических выражений или, например, о грамматике слова „Бог“». Однако в действительности о грамматике таких слов, как «Бог», и грамматике этических выражений он сказал очень мало. По-настоящему обстоятельно Витгенштейн рассмотрел не этику, а эстетику. Правда, он замечает: «Практически всё, что я говорю о „красивом“, применимо несколько иным способом и к „хорошему“». Однако рассмотрение эстетики довольно странным образом смешивалось у него с критикой допущений, которые, по его словам, постоянно делает Фрэнк в «Золотой ветви», а также с критикой Фрейда.

Его основным замечанием по поводу слова «Бог», как кажется, было то, что данное слово используется во многих *грамматически* разных смыслах. Так, он заявляет, что множество споров о Боге можно уладить, сказав: «Я не использую это слово в том смысле, в котором вы можете сказать, что...». И что разные религии «рассматривают как осмысленные те вещи, которые в других рассматриваются как бессмыслица, а не просто отрицают некое высказывание, которое другая религия утверждает». Он иллюстрирует это следующим образом. Если люди используют слово «бог» для обозначения чего-то похожего на человеческое существо, то оба выражения «У бога четыре руки» и «У бога две руки» имеют смысл. Однако другие люди используют слово «Бог» так, что «У Бога есть руки» является бессмыслицей, и они сказали бы «Бог *не может* иметь рук». Схожим образом он высказывается и о выражении «душа», заявляя, что иногда люди так используют данное выражение, что фраза «душа является газообразным человеческим существом» имеет смысл, но иногда так, что не имеет. Объясняя, что он подразумевает под «грамматически» разными смыслами, Витгенштейн говорит о том, что нам нужны термины, не являющиеся «сравнимыми» (как, например, сравнимы «твердый» и «газообразный»), но отличающиеся так, как, например, «стул» отличается от «разрешения сесть на стул» или «железная дорога» отличается от «железнодорожной катастрофы».

Своё рассмотрение эстетики Витгенштейн начинает с обращения к одной проблеме, касающейся значения слов, к которой, по его словам, он ещё не обращался. Данную проблему он проиллюстрировал примером со словом «игра», по поводу которого он сказал следующее: (1) даже если у всех игр имеется что-то общее, отсюда не следует, что именно это мы имеем в виду, называя определённую игру «игрой»; (2) причина, по которой мы называем множество разных видов деятельности «играми», не обязательно заключается в том, что у всех игр есть что-то общее — достаточно «постепенного перехода» от одного употребления этого слова к другому, при этом у крайних членов данного ряда может и не быть ничего общего. И, по-видимому, он был уверен в том, что в различных наших употреблениях слова «красивый» нет ничего общего, когда утверждал, что мы используем это слово «в сотне различных игр» — что, например, красота лица есть нечто отличное от красоты стула или цветка или переплёта книги. И о слове «хороший» он, сходным образом, говорит, что каждый отличающийся способ, с помощью которого один человек А может убеждать другого человека В в том, что то-то и то-то «хорошее», устанавливает значение, в котором слово «хорошее» используется в данном рассмотрении — «устанавливает грамматику данного

рассмотрения». Однако «вместо чего-то общего» это будет «постепенный переход» от одного из этих значений к другому. В отношении слова «красота» он сказал, что различие значений демонстрируется тем обстоятельством, что обсуждая, является ли «красивой» композиция цветов в клумбе, «вы можете сказать больше», чем обсуждая, является ли таковым аромат сирени.

Далее он говорит, что особые цвета в определённом пространственном расположении не являются просто «симптомами» того, что нечто, их имеющее, *также* обладает качеством, которое мы называем «быть красивым». Они были бы просто симптомами, если бы мы подразумевали под «красивым», например, «вызывающее зубную боль» — в этом случае мы могли бы узнать из опыта, всегда ли подобное расположение вызывает зубную боль или нет. Чтобы узнать, как мы используем слово «красивый», нам, согласно Витгенштейну, нужно рассмотреть: (1) как выглядит реальный эстетический спор или исследование, и (2) являются ли подобные исследования на самом деле психологическими, «хотя они выглядят настолько разными». По поводу (1) Витгенштейн сказал, что само по себе слово «красивый» практически не используется в эстетических спорах: мы более склонны употреблять слово «верный», как, например, в выражении «Всё же это не кажется абсолютно верным», или когда говорим о предложенном аккомпанементе песни «Так не годится: это неверно». В отношении (2) он заявил, что если мы говорим, к примеру, о басы «Он слишком густой; он слишком волнует», то мы не утверждаем, что «Если бы он меньше волновал, он бы был мне более приятен». Напротив, то, что он должен быть тише — это «самоцель», а не средство достижения некой другой цели. Обсуждая, «годится» ли бас, мы обсуждаем психологический вопрос ничуть не в большей мере, чем рассматриваем психологические вопросы в физике. На самом деле мы пытаемся привести бас «ближе к идеалу», хотя у нас и нет идеала, который мы бы могли скопировать. Показывая, чего мы хотим, мы можем указать на другое звучание, которое можем назвать «совершенно верным». По словам Витгенштейна, в эстетических исследованиях «причинные связи — вещь, которой мы не интересуемся, в то же время это единственное, что нас интересует в психологии». Спрашивать «Почему это красиво?» не означает требовать причинного объяснения: к примеру, причинное объяснение, приведённое в ответ на вопрос «Почему запах розы доставляет удовольствие?», не разрешило бы нашу «эстетическую загадку».

Высказываясь против особого воззрения, согласно которому «красивое» означает «приятное», Витгенштейн указывает на то, что мы можем не пойти на

исполнение определённого произведения, сказав «Я не выношу его величия», и в этом случае данное произведение скорее неприятно, нежели приятно. Мы можем считать, что музыкальное произведение, которому мы на самом деле отдаём предпочтение, это «просто ничто» по сравнению с другим произведением, которое нравится нам меньше. А то обстоятельство, что мы идём смотреть «Короля Лира» никоим образом не доказывает, что данный опыт приятен. По словам Витгенштейна, даже если он приятен, это «едва ли не наименее важное, что вы можете о нём сказать». Такое высказывание, как «Этот бас слишком волнует», заявляет он, вообще не является высказыванием о человеческих существах, оно больше похоже на что-то математическое. И если я говорю о лице, которое рисую, что «оно слишком улыбочливое», это означает, что его можно приблизить к некоторому «идеалу», а не то, что оно пока не в достаточной степени приятно; и приближение его к обсуждаемому «идеалу» было бы больше похоже на «решение математической проблемы». Подобным образом, утверждает Витгенштейн, художник не ставит над собой психологический эксперимент, когда пытается улучшить картину, а сказать о двери «Её верхняя часть перевешивает» это сказать, что с ней не так, а *не* то, какое впечатление она на вас производит. По его словам, вопросом эстетики является не «Вам это нравится?», а «Почему вам это нравится?».

То, что эстетика пытается делать, считает Витгенштейн, так это приводить *основания*, например, в пользу того, что данное слово предпочтительнее другого в определённом месте поэмы, или что данная музыкальная фраза предпочтительнее другой в определённом месте музыкального произведения. *Основание*, которое приводил Брамс, отклоняя предложение Йохима начинать симфонию № 4 двумя аккордами, состояло не в том, что это не вызвало бы того чувства, которое он хотел бы вызвать. Оно было больше похоже на что-то вроде: «Это не то, что я имел в виду». *Основания* в эстетике, как говорит Витгенштейн, имеют «природу дополнительных описаний»: к примеру, вы можете помочь другому человеку увидеть намерение Брамса, показав ему множество различных произведений Брамса или сравнив Брамса с современным автором; и всё, что делает эстетика, определяется задачей «привлечь ваше внимание к вещи», «поместить вещи рядом». Если же, говорит он, приводя «основания» подобного рода, вы помогаете другому человеку «увидеть то, что видите вы», но это по-прежнему «его не привлекает», значит, пришёл конец дискуссии. Витгенштейн также говорит об идее, которую он имел «где-то в глубине души». Это «идея о том, что эстетические дискуссии похожи на дискуссии в суде», где вы

пытаетесь «прояснить обстоятельства» слушающегося дела, надеясь, что в итоге сказанное вами «понравится судьбе». И замечает, что «основания» того же рода приводятся не только в этике, но также в философии.

Что касается «Золотой ветви» Фрэзера, то здесь, как мне кажется, имелось три основных момента, которые Витгенштейн считал принципиальными. (1) Было ошибкой полагать, будто существует *только одно* «основание» (в смысле «мотива»), заставляющее людей выполнять определённое действие — ошибочно полагать, будто существует «один мотив, *единственный* мотив». В качестве примера такого рода ошибки Витгенштейн приводит высказывание Фрэзера о магии, в котором утверждается, что люди примитивных обществ, прокалывая фигурку определённого человека, верят, что нанесли вред этому человеку. По словам Витгенштейна, люди примитивных обществ не *всегда* придерживаются этой «лженаучной веры», хотя в некоторых случаях могут придерживаться — они могли бы иметь и совершенно иные причины прокалывать фигурку. Однако, говорит он, склонность считать, что имеется «один мотив, который является *единственным* мотивом», «чрезвычайно сильна» и в качестве примера указывает на существование теорий игры, каждая из которых даёт только один ответ на вопрос «Почему дети играют?». (2) Было ошибкой полагать, что этот *единственный* мотив всегда связан с «получением чего-то полезного». В качестве примера этой ошибки он привёл предположение Фрэзера, что «на определённой стадии люди считают полезным убить человека, чтобы собрать хороший урожай». (3) Было ошибкой полагать, например, что рассказ о празднике *Белтейн*¹⁶ «*производит на нас такое большое впечатление*» *потому, что этот* праздник «*восходит к празднованию, на котором сжигался живой человек*». Он обвиняет Фрэзера в том, что тот именно в этом видит основание. По словам Витгенштейна, наше замешательство из-за непонимания, почему нас впечатляет данный праздник, не ослабевает после указания на причины, связанные с происхождением праздника, но оно слабеет после знакомства с другими схожими праздниками: знакомство с ними может сделать его «естественным» для нас, тогда как приведение причин, связанных с происхождением, не может. В этой связи он замечает, что вопрос «Почему это меня впечатляет?» схож с эстетическими вопросами «Почему это красиво?» или «Почему этот бас не годится?».

¹⁶ Кельтский праздник костров. — Прим. перев.

Он сказал, что Дарвин, рассуждая о «выражении эмоций», допустил ошибку, похожую на ошибку Фрэзера. Например, Дарвин считал, что для объяснения, почему мы в гневе показываем зубы, достаточно следующего: «потому что наши предки, будучи рассержены, хотели укусить». Согласно Витгенштейну, можно сказать, что приемлемым у Дарвина являются не подобные «гипотезы», но сделанное им «приведение фактов в систему» — то, что он помог нам сделать их «синописис».

Что касается Фрейда, то Витгенштейн посвятил большую часть двух лекций фрейдовскому исследованию природы «остроты» (Witz), которое он назвал «эстетическим исследованием». По его словам, книга Фрейда на данную тему хорошо подходит для поиска философских ошибок, и то же самое можно сказать о работах Фрейда в целом. Потому что слишком часто оказывается уместным вопрос, насколько сказанное Фрейдом является «гипотезой», а насколько просто хорошим способом изображения факта, и по поводу этого, считает Витгенштейн, у самого Фрейда никогда не было ясного понимания. Витгенштейн говорит, например, что Фрейд способствовал смещению поиска *причины* вашего смеха и поиска *основания*¹⁷ для вашего смеха, поскольку сказанное им выглядит как наука, тогда как на деле это просто «замечательное изображение». Этот последний момент Витгенштейн также выражает следующими словами: «Это всё превосходные фигуры сравнения, например сравнение сновидения с ребусом». (Ранее он сказал, что в природе эстетики «давать хорошую фигуру сравнения»). Как говорит Витгенштейн, данное смещение *причины* и *основания* привело к тому, что ученики Фрейда производят «ужасный беспорядок»: на самом деле Фрейд не дал какого-либо метода анализа сновидений, аналогичного правилам, которые скажут вам о причинах зубной боли; у Фрейда был дар, и потому с помощью психоанализа он иногда мог найти основание определённого сновидения, однако в случае с Фрейдом наиболее поразительна та «огромная область психических фактов, которые он упорядочивает».

Рассматривая сказанное Фрейдом об острогах, Витгенштейн утверждает вначале, что Фрейд совершил две ошибки, полагая, (1) что у всех острог имеется нечто общее и (2) что значение слова «острота» и есть это предполагаемое общее свойство. Он назвал неверной мысль Фрейда о том, что все остроги позволяют нам делать в завуалированной форме то, что показалось бы неприличным делать открыто, но также

¹⁷ В данном фрагменте как «причина» переводится английское слово «cause», а как «основание» — английское «reason». — Прим. перев.

сказал, что «острота», как и «пропозиция», «имеет целую радугу значений». Однако мне представляется, что, возможно, наиболее принципиальным для Витгенштейна было высказаться о том, что психоанализ позволяет вам обнаружить не *причину*, а только *основание*, например, основание смеха. В поддержку этого высказывания он заявляет, что психоанализ проведён успешно, только если пациент соглашается с объяснением, предложенным аналитиком. Как говорит Витгенштейн, в физике нет ничего подобного этому, а то, с чем пациент соглашается, не может быть *гипотезой* относительно *причины* его смеха, то-то и то-то есть только *основание*, почему он смеялся. Согласно объяснению Витгенштейна, пациент, который соглашается, не думал об этом основании в момент смеха, а слова о том, что он думал о нём «подсознательно», «ничего не говорят вам о том, что происходило в тот момент, когда он смеялся».

(F) В (I), довольно неожиданно для меня, Витгенштейн потратил много времени на рассмотрение того, что можно было бы назвать вопросом о цветах. Вопрос состоял в том, как провести различие между четырьмя «насыщенными» цветами (чистый жёлтый, чистый красный, чистый синий, чистый зелёный), которые он назвал «первичными», и «насыщенными» цветами, не являющимися «первичными». Представляя расположение насыщенных цветов, он нарисовал на доске окружность с вертикальным диаметром, соединяющим «жёлтый» сверху с «синим» снизу, и горизонтальным диаметром, соединяющим «зелёный» слева с «красным» справа. Как кажется, Витгенштейн утверждал, что эти четыре цвета и другие насыщенные цвета различаются двумя следующими способами. (1) Смысл, в котором любой пурпурный цвет находится «между» чистым красным и чистым синим, и в котором любой оранжевый цвет находится «между» чистым жёлтым и чистым красным, совершенно отличен от того смысла «между», в котором чистый красный находится «между» любым оранжевым и любым пурпурным. Данное различие Витгенштейн также выражал следующим образом: тогда как оранжевый цвет допустимо назвать «смесью» жёлтого и красного, красный никак нельзя назвать «смесью» оранжевого и пурпурного. (2) Тогда как о чистом красном цвете допустимо утверждать, что он находится «посередине» между чистым жёлтым и чистым синим, не существует цвета, находящегося «посередине» между чистым красным и чистым синим, или «посередине» между чистым жёлтым и чистым красным и т.д. Из-за этого, говорит Витгенштейн, расположение насыщенных цветов в квадрате, где четыре «первичных» цвета находятся в четырёх углах, лучше подходит для изображения их отношения, нежели расположение в окружности.

Я говорю только то, что он, *как кажется*, делает эти утверждения. Поскольку Витгенштейн с самого начала подчёркивал, что «первичный» не является прилагательным по отношению к «цвету» в том же самом смысле, в котором «чёрный» может быть прилагательным, относящимся к «платью». И что различие между «первичным» и «не первичным» является «логическим» различием. Это последнее выражение он объяснит позже, заявив, что точно так же как звуки и цвета различает не то, что нечто истинное в отношении одного, не истинно в отношении другого, так и красный, синий, зелёный и жёлтый цвета различает с другими насыщенными цветами не то, что нечто, что истинно в их отношении, не истинно в отношении других цветов. Сначала он обращает внимание на то, что предложения «синий не является первичным цветом» и «фиолетовый является первичным цветом» оба «бессмысленны». Как я думаю, он явно полагал, что в силу этого и противоречащие им предложения «синий является первичным цветом» и «фиолетовый не является первичным цветом» также бессмысленны, хотя имеется смысл, в котором два последних истинны, а два первых ложны. Другими словами, я считаю, что Витгенштейн, безусловно, полагал, что «синий является первичным цветом» — это «необходимая пропозиция» (мы не можем представить, что она неистинна), а потому, как он говорит (стр. 16), она «не имеет смысла». Как кажется, из этого вытекает следующее. Если Витгенштейн действительно говорит о *цветах*, красном, синем, зелёном и жёлтом (по-видимому, это так и есть), тогда всё, что он сказал о них, является «бессмыслицей». Согласно сказанному им где-то в другом месте, он только тогда мог бы говорить осмысленно, если бы говорил не о цветах, а об определённых словах, используемых для их выражения. И, в соответствии с этим, далее он действительно утверждает, что пропозиция «красный является первичным цветом» относится лишь к использованию слова «красный» в (английском) языке. Но, как я показал (стр. 311), он не мог так всерьёз считать. Поднятый мной здесь вопрос уже обсуждался в подробностях во второй статье, и мне нечего добавить, кроме одной цитаты, которую мне следовало бы привести ещё там. В одном месте в (II) он действительно говорит: «То, что соответствует необходимости в мире, в языке кажется произвольным правилом». Не думаю, что Витгенштейну удалось сделать понятными свои мысли о том, каково отношение между тем, что он называет «правилами грамматики», с одной стороны, и «необходимыми пропозициями», с другой.

(G) Вопросы о времени Витгенштейн обсуждает, и довольно обстоятельно, в двух местах в (III).

Более раннее обсуждение касалось взглядов Витгенштейна на «затруднения в нашей мысли», которые он хотел устранить. По его словам, эти затруднения возникают из-за того, что мы считаем, что предложения, которые не используются нами с какой-либо практической целью, выглядят так, будто они «должны иметь смысл», тогда как фактически они его не имеют. Как кажется, главным было следующее. Поскольку мы говорим о времени, что оно «течёт», так же как «течёт» река, мы склонны считать, что время течёт в определённом направлении, как и река, и что поэтому имеет смысл полагать, что время может течь в противоположном направлении, точно так же как, несомненно, имеет смысл полагать, что это может делать река. В одном месте Витгенштейн говорит, что некоторые философы действительно произвели на свет путаницу, утверждая, что время имеет «направление», которое, предположительно, можно обратить. Позже он проводит различие (значение которого мне не ясно) между тем, что он назвал «памятью-временем» и тем, что он назвал «информацией-временем». О первом Витгенштейн сказал, что в нём имеется только раньше и позже, но нет прошлого и будущего. Об «информации-времени» он заметил, что слова о том, что я помню то, что в нём является будущим, имеют смысл. Как кажется, данное различие связано с другим различием, которое он сделал раньше, когда говорил следующее: если мы представим реку с плывущими по течению брёвнами, находящимися на равных расстояниях друг от друга, то временной промежуток между моментом, когда мимо нас проплыло, например, 120-е бревно, и моментом, когда проплыло 130-е, мог бы *показаться* равным промежутку между моментом, когда мимо нас проплыло 130-е бревно, и моментом, когда проплыло 140-е, хотя при *измерении с помощью часов* эти промежутки не были бы равными. Далее он спрашивает: «Допустим, все события закончились, что тогда служит критерием, позволяющим сказать, закончилось бы и время или оно бы продолжалось?» и «Если раньше, чем сто лет назад, не было событий, тогда до этого не было бы и времени?». По словам Витгенштейна, нам нужно обращать внимание на то, как мы используем выражение «время»; люди часто спрашивают «Было ли сотворено время?», хотя вопрос «Было ли сотворено „до“?» совсем не имеет значения.

Однако в данном обсуждении [вопросов времени — прим. перев.] Витгенштейн сказал довольно много такого, чего мне не удалось понять, и весьма вероятно, что я опустил некоторые моменты, которые он счёл бы имеющими первостепенное значение.

В своём втором обсуждении [вопросов времени — прим. перев.] Витгенштейн пытался показать, что не так в следующем высказывании Рассела из «Очерка

философии»: «Воспоминание, которое всегда происходит в настоящем времени, никак не может доказать, что воспоминаемое происходило в некоторое другое время, поскольку мир мог бы возникнуть пять минут назад, полный совершенно обманчивых актов воспоминания». Однако меня не покидает мысль, что в сказанном Витгенштейном об этом высказывании имеется две вполне определённые ошибки относительно того, что Рассел имел в виду. Но чтобы объяснить, почему я так считаю, мне нужно сначала объяснить, как я понимаю то, что имеет в виду Рассел.

Отметим, что Рассел выражается так, как если бы «акты воспоминания» могли быть «совершенно обманчивыми». И Рассел, по-видимому, не заметил, что мы используем термин «вспоминать» таким образом, что если акт, похожий на акт воспоминания, оказывается совершенно обманчивым, мы говорим о нём, что он не был актом воспоминания. К примеру, выражение «Я помню, что завтракал сегодня утром» используется таким образом, что если оказывается, что я не завтракал сегодня утром, из этого *логически следует*, что я не помню, что я это делал. Из «Я помню, что завтракал» *логически следует*, что я действительно завтракал, поскольку «совершенно обманчивые акты воспоминания» — это логическое противоречие. Если акт совершенно обманчив, он не является актом воспоминания. Поэтому ясно, что Рассел использует выражение «акты воспоминания» в ином смысле, отличном от любого, в котором оно может корректно использоваться. И для его взгляда можно подобрать более корректное выражение: *логически возможно*, что мы никогда ничего не помним. Я говорю «логически возможно», поскольку, заявляя, что «мир мог бы возникнуть пять минут назад», под «мог» Рассел, на мой взгляд, явно подразумевает лишь логическую возможность того, что он возник пять минут назад.

И теперь Витгенштейн, совершенно справедливо, указывает на то, что, когда Рассел говорит «мир мог бы возникнуть пять минут назад», его выбор в пользу «пяти минут назад» как времени «возникновения» мира является «произвольным». Взгляд Рассела требует одинаковой истинности того, чтобы мир мог бы «возникнуть» пять минут назад или же одну минуту назад, или, как замечает Витгенштейн, чтобы он мог бы начать существовать *сейчас*. И Витгенштейн действительно заявил, что Рассел должен был сказать: «Мир мог бы быть создан *сейчас*». И я считаю, что Рассел действительно это подразумевает. Однако Витгенштейн утверждает, что в процитированном высказывании Рассел «совершает явную ошибку идеализма». А это, конечно, совершенно не так! Из уже процитированного мной (стр. 15) становится ясно, что под «ошибкой идеализма» Витгенштейн понимал высказывание типа «Логически

невозможно, чтобы реальным было что-либо, кроме настоящего опыта». А высказывание Рассела явно этого не подразумевает. Похоже на то, что в тот момент Витгенштейн смешивал две совершенно разные пропозиции: (1) «Логически возможно, чтобы не существовало ничего, кроме настоящего опыта», о которой можно сказать, что Рассел её подразумевает, и (2) «Логически невозможно, чтобы существовало что-либо, кроме настоящего опыта», чего Рассел явно не имеет в виду.

Но как мне кажется, Витгенштейн совершил ещё одну явную ошибку в отношении того, что предполагает взгляд Рассела. Ошибочной была его довольно подробная критика. Сначала Витгенштейн предложил нам рассмотреть вопрос «Что является верификацией пропозиции „Мир начал существовать пять минут назад“?», заметив, что если вы не допускаете критерия истинности этой пропозиции, данное предложение «бесполезно» или, как он скажет потом, «бессмысленно». Его критика Рассела выражена здесь в следующих словах: «Рассел отказывается признать свидетельством в пользу высказывания „мир возник более пяти минут назад“ то, что все мы признаем таким свидетельством, и потому он делает данное высказывание бессмысленным». Он сравнивает высказывание Рассела с высказыванием «Между А и В находится кролик всякий раз, когда никто не смотрит», которое, как говорит Витгенштейн, «кажется имеющим смысл, но на самом деле бессмысленно, поскольку оно не может быть опровергнуто опытом». Однако нет сомнения, что Рассел допустил бы (и может допустить без какой-либо непоследовательности), что некоторые из тех событий, которые он неточно называет «актами воспоминания», действительно составляют крайне убедительное свидетельство в пользу того, что мир существовал более пяти минут назад. Для него важно отвергнуть не то, что они составляют *убедительное* свидетельство, а только то, что они составляют *абсолютно неопровержимое* свидетельство — что они «доказывают», что мир существовал. Другими словами, Рассел утверждает лишь *логическую возможность* того, что мир не существовал. Как мне кажется, Витгенштейн не заметил различия между отрицанием того, что мы имеем *какое-либо* свидетельство — данное отрицание Расселу нельзя приписать, — и отрицанием того, что мы имеем *абсолютно неопровержимое* свидетельство, и это отрицание, как я думаю, Рассел явно имеет в виду.

Однако мне представляется, что позже Витгенштейн предлагает другой и совсем иного рода аргумент, который (если Витгенштейн действительно имел в виду то, что он, как кажется, имел в виду, и если то, что он, как кажется, имел в виду, является истинным) мог бы на самом деле стать обоснованным опровержением высказывания

Рассела. Витгенштейн снова вводит выражение «память-время», отмечая, что так можно назвать некий порядок событий. И далее утверждает, что все эти события «приближаются к некой точке, такой, что слова „В произошло после настоящего момента в памяти-времени“ не будут иметь смысла. Он также говорит, что «сейчас» «должно быть точкой в порядке». И что, когда мы говорим «Сейчас бьют часы», «сейчас» означает «настоящий момент нашего памяти-времени» и не может означать, к примеру, «в 6 часов 7 минут», поскольку имеют смысл слова «*Сейчас* 6 часов 7 минут». Всё это наводит меня на мысль, что взгляд Витгенштейна заключался в том, что «сейчас» — в том смысле, в котором мы обычно используем это слово и в котором Рассел, несомненно, использует его — имеет значение, предполагающее предшествующие события: частью того, что мы говорим, утверждая, что событие происходит «сейчас», является то, что данному событию предшествовали другие события, которые мы помним. И если это так, тогда определённо получается, что Рассел ошибался, предполагая логически возможным, чтобы моменту *сейчас* ничего не предшествовало.

(Н) Меня сильно удивили некоторые вещи, которые Витгенштейн говорил о различии между «философией» в том смысле, в котором его занятия можно назвать «философией» (он называл это «современная философия»), и тем, что традиционно именуется «философией». По словам Витгенштейна, то, чем он занимается, это «новая дисциплина», а не просто ступень «непрерывного развития». Он также сказал, что в настоящее время в философии наблюдается «излом» в «развитии человеческой мысли», сопоставимый с тем, что произошёл, когда Галилей и его современники изобрели динамику. Что произошло открытие «нового метода» — нечто похожее случилось, когда «химия развилась из алхимии». И что сейчас впервые стало возможным появление «искусных» философов, хотя, конечно, в прошлом были «великие» философы.

Далее он говорит, что, хотя к настоящему времени философия уже «сведена к вопросу умения», данное умение, подобно другим умениям, всё же трудно приобрести. Одна из трудностей состоит в том, что философия требует «типа мышления», к которому мы не привыкли и которому не обучены. Типа мышления, который сильно отличается от того, что требуется в науках. По его словам, требуемое умение нельзя получить при прослушивании лекций: существенной является дискуссия. По поводу собственной работы Витгенштейн сказал, что не важно, являются ли его результаты верными или нет: важно, что «метод был найден».

Отвечая на вопрос, почему эту «новую дисциплину» следует называть «философией», в (III) Витгенштейн говорит следующее: хотя то, чем он занимается, безусловно, отличается от сделанного, к примеру, Платоном или Беркли, всё же люди могут почувствовать, что его дело «занимает место» того, что они сделали. Возможно, люди захотят сказать «Это то, чего я действительно хотел» и отождествить это с тем, что сделали они [философы прошлого — прим. перев.], хотя в действительности это нечто другое. Точно также (я говорил об этом выше, стр. 9) может обстоять дело с человеком, который пытался разделить угол на три равные части с помощью линейки и циркуля, но ему показали доказательство невозможности этого. Возможно, он захочет сказать, что это невозможное и есть то, что он пытался сделать, хотя в действительности он пытался сделать другое. Однако в (II) Витгенштейн также заявил, что «новая дисциплина» действительно похожа на то, что традиционно называлось «философией». И похожа в трёх аспектах. (1) Она наиболее общая, (2) она фундаментальна как в отношении обыденной жизни, так и в отношении наук, (3) она не зависит от каких-либо специальных результатов науки; и что поэтому применение к ней слова «философия» не является лишь произвольным наименованием.

Напрямую Витгенштейн не рассказывал нам о том, чем именно является этот найденный «новый метод». Однако он сделал несколько намёков относительно его природы. В (II) Витгенштейн говорит, что «новая дисциплина» является «чем-то вроде упорядочивания наших понятий, относящихся к тому, что может быть сказано о мире» и сравнил это с уборкой комнаты, в которой вам нужно по нескольку раз переставлять один и тот же предмет, прежде чем комната действительно будет приведена в порядок. Также он сказал, что мы пребываем «в смятении относительно вещей», которые должны попытаться сделать ясными. Что мы должны следовать определённому инстинкту, побуждающему задавать определённые вопросы, хотя даже не понимаем, что значат эти вопросы. Что мы задаём эти вопросы из-за «смутного умственного беспокойства», похожего на то, что заставляет детей спрашивать «Почему?». И что данное беспокойство можно исцелить «либо показав, что некий вопрос недопустим, либо ответив на него». Он также говорил, что не пытается учить нас каким-либо новым фактам, и будет рассказывать лишь о «тривиальных» вещах — «вещах, которые мы уже знаем». Однако получить «синопсис» этих тривиальностей трудно, а наш «интеллектуальный дискомфорт» можно устранить лишь благодаря синопсису *многих* тривиальностей, и «если мы пропускаем некоторые из них, мы по-прежнему чувствуем, что что-то здесь не так». В этой связи он заметил, что называть искомый метод

«анализом» значит вводить в заблуждение. Поскольку в науке «анализировать» воду означает открывать о ней новые факты, например, что она состоит из кислорода и водорода, тогда как в философии «мы в самом начале знаем все факты, которые нам нужно знать». Как я думаю, именно в связи с этой потребностью в «синопсисе» тривиальностей Витгенштейн считал философию похожей на этику и эстетику (стр. 19).

Возможно, в заключение следует повторить то, что уже было сказано мной в первой статье (стр. 5–6), а именно: Витгенштейн считал, что, хотя «новая дисциплина» и должна многое сообщить о языке, ей достаточно обращаться только к тем вопросам о языке, которые привели или могут привести к определённым философским затруднениям и ошибкам. На мой взгляд, Витгенштейн считал, что некоторые современные философы сбивы с толку и обращаются к лингвистическим вопросам, не имеющим подобного значения, то есть к вопросам, рассмотрение которых, на его взгляд, не относится к числу подлинных задач философа.